



Элеонора Гильм
Волчья ягода

Волк вернется
и заберет дитя

Элеонора Гильм

Волчья ягода

Серия «Я – женщина. Любовно-исторический роман»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66834553

Волчья ягода: Эксмо; Москва; 2022
ISBN 978-5-04-162205-3

Аннотация

Романы Элеоноры Гильм рассказывают о самом важном, погружая в чужие судьбы так легко, что хочется читать ее снова и снова!

Встречайте новинку в серии книг о простой сибирской девушке и ее непростой судьбе – Аксинья как никто доказывает, что любить и быть любимой – самое счастливое и самое трудное испытание на свете...

Третий роман является продолжением истории непростой жизни Аксиньи Ветер, знахарки и травницы. Россия начала XVII века, Смута, голод, сумятица. Жизнь героини наполнена тревогами о дочери и хлебе насущном. Мужчина из прошлого появится в её жизни и снах, принесёт страх и смятение.

Содержание

Пролог	5
1. Чудо	5
2. Весновой	23
3. Звери о двух ногах	33
4. Ложь	53
Агафья	67
Глава 1	74
1. Кислое	74
2. Обрубок	89
3. Цветок лесной	100
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Элеонора Гильм

Волчья ягода

© Гильм Э., 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

*Посвящается материнской любви, самой
сильной на свете*

Пролог

1. Чудо

Матвей зашел в избу, отряхнул кровависто-алые сапоги, оглядел нехитрое убранство.

– Тетка, как вы живете-то? – спросил он, и коричневый рот растянулся в невеселой улыбке. – Далече я был, скучал по вас...

Аксинья не могла ответить племяннику, только сокрушенно пожимала плечами. Она силилась остановиться, но тело не поддавалось ей и продолжало странный обряд: и плечи совершали все более резкие движения, и боль змеилась на лопатках, сковывала спину железным ободом.

Матвей сел за стол, перекрестился на иконы, потом заметил Нюту, свернувшуюся на земляном полу.

– А с ней что? – Он подошел к девочке, перевернул скукоженное тельце. Белое лицо с синими губами не давало возможности усомниться – она видела последний сон. Стылая вечность поглотила тело, а душа отправилась на небеса.

– И ее уморила? Что ты за человек? Всех, всех уморила!

Аксинья с утробным стоном очнулась, ощупала дочь – теплая, дышит.

Все сон. Сон.

Иногда убедить себя было сложно – столь живыми были образы, что возникали в голове. Смерть матери и Матвейки, потеря родного дома забрали ее право на искупление, лишили возможности быть счастливой. Словно засунули в темную кротовую нору.

Только забота о дочери не позволяла заблудиться в сумрачном зимнем лесу меж высоких сосен. Аксиныя гнала дурные сны прочь, шептала молитвы, занимала голову и руки повседневными хлопотами.

Ветер бесновался за бревенчатой стеной, сотрясал голые ветви осин, шуршал бурьяном, выросшим за окном прошлым летом. Изба Глафиры привыкла жить без хозяев. Тринадцать лет и тринадцать зим ветшала, проседала вниз, тарасилась пустыми оконцами на тропу, что вела из деревушки Еловой. Огород давно порос травой, сарай и сенник зияли проломанными досками. Ни один из обитателей Еловой не решился утащить что-то из проклятого дома ведьмы Гречанки.

Осенью 1612 года Аксиныя и дочь ее Сусанна, Нюта, несчастные погорелицы, переселились в пустую избу, и прошедшие месяцы оказались худшими в их несладкой жизни. Деревушка Еловая, Пермь и весь белый свет страдали от голода, разбойников и нескончаемых войн. И рассчитывать в лихую годину приходилось лишь на себя.

Аксиныя прижала к себе тонкое тельце дочери, напоролась на острые лопатки. Нютка с каждым днем становилась все

бледнее, хребет выступал, словно кочки на болоте, западали глаза. Недавно еще они сверкали голодом, молили о похлебке, о горсти зерна, о куске хлеба. Сейчас Ньюта молчала, и глаза ее были тусклы и бессмысленны.

Аксинья обратилась в зверушку, белку или лесную мышь, что заботится лишь о жизни своей и детеныша, о сухой теплой норе и сытой утробе. Она выбросила из памяти темные кудри, белозубую улыбку, юные надежды и обугленное тело на белом льняном покрывале. Она не корила себя за грехи, не проклинала Семена Петуха, что исчез где-то на пути из Соли Камской в Москву¹. Она со страхом и надеждой встречала каждый день и думала лишь о том, как накормить Сусанну.

К Филиппову посту закончились рожь, капуста, репа. К Рождественскому мясоеду Аксинья выварила старые сапоги, ремни, поршни². В разгар колядок она пришла к Катерине – не кланяться, а напомнить о злодеянии Илюхи, сына Семена Петуха. Прошлой осенью девятилетний неслух пустил красного петуха и спалил дотла двор Вороновых: избу, хлев, сарай, большую часть добра, нажитого основательным Василием, отцом Аксиньи. В хлеву живьем сгорел Матвейка, мужской отросток оскудевшего рода Ворона.

Катерина, мать Илюхи, молча привела Аксинью в погреб,

¹ Жизненный путь Аксиньи Ветер описаны в романах «Обмануть судьбу» (Эксмо, 2020) и «Искупление» (Эксмо, 2021).

² Поршни – кожаная обувь. – *Здесь и далее примечания автора.*

показала сусеки в амбаре – запасов еле-еле хватало до середины весны. Она кивнула на тощего Илюху и стриженного Ваньку, свернувшихся на печи под овчиной. Как можно было винить Катерину за то, что судьба мужниной любовницы и малолетней Нютки не волновала ее ни капельки?

Аксинья заваривала в кипятке травы: тонколиственный кипрей, мать-и-мачеху, подорожник, – настаивала их на печи. Отвар пах летом и солнцем, освежал пересохшее горло, но не унимал болезненные стоны утробы, которую сводило дено и ночью. Плоть просила еды.

Ягоды шиповника и рябины размачивали в теплой водице и грызли, смаковали пресные, горьковатые ягоды. Аксинья в который раз кляла себя за пагубную забывчивость. В тот осенний вечер, когда огонь пожирал дом, она не вытащила из погреба кадушки с солеными груздями и рыжиками, лохани с моченой брусникой. Металась от сундука к сундуку в судорожном тщании спасти добро, а припасы оставила в закромах. Пожар уничтожил то, что сушила, солила, заготавливала на всю зиму.

– Хоть травы уцелели, – подумала вслух и удивилась своему шипящему голосу.

Они с дочерью берегли силы и разговаривали лишь по необходимости. Тишина нарушалась только ободряющим треском дров, насмешливым воем ветра.

Аксинья раз в день выходила во двор, выливала ведро с нечистотами в яму близ повалившегося забора, чистила

крыльцо, узкую тропу до того места, что было лет десять назад воротами – теперь лишь пухлый сугроб напоминал о них.

Она боялась остаться без живого тепла. К весне Аксинья начала подсчет дровяных запасов, потому не разрешала себе взять больше, чем охапку поленьев. В месяцы трескучих морозов Аксинья протапливала печь днем, закрывала волоковое оконце раньше срока, чтобы дым не уходил наружу вместе с теплом. Порой они с Нютой кашляли до слез, и с буханьем выворачивало их наружу, до самых кишок. Ночь мать с дочерью проводили нацепив всю одежду, словно луковицы в подполе. А было одежек немного: тулуп, теплая да холодная телогреи, старая беличья шуба Аксиньи, в которую она кутала дочь, два летника, медвежья шкура, добытая где-то Тошкой.

Печка уже прогорела, и последние угольки чуть потрескивали. Нюта провалилась в сон, Аксинья стояла на краешке пропасти сновидений. Она упала, но что-то вернуло ее в темную избу.

В доме сгустилась черной кошкой тьма, но по неуловимому отблеску Аксинья поняла, что утро уже наступило. Несмелое солнце обычно с трудом пробивалось сквозь толстый лед, которым было забито единственное окошко. Только к полудню изба и ее обитатели получали толику света.

Голова шумела от бесхлебья и дурных мыслей, а сквозь этот тонкий, обременительно-назойливый звон пробивался какой-то другой звук. Она приподнялась, потрянула головой,

будто движение могло усмирить писк нескольких дюжин комаров.

Иногда Аксинье казалось, что она сошла с ума.

* * *

Последнее, что еловчане слышали о Москве, о необъятной России, внушало надежду.

– Ляхи-то в Кремле сидят, наши казачки их со всех сторон обложили. Скоро выкурят басурман да бошки им поносят, – словоугодничал староста Яков на последнем деревенском сходе в самом начале зимы.

Народ хорошим вестям не верил, потому за внушительной спиной старосты парни и мужики корчили похабные рожи и шептались:

– Княжонок из ляхов³ на престол сел, вот те крест.

– Царство антихриста, вестимо.

– Не из ляхов он, а из демонов, тех, с рогами и копытами.

– Конец света не за горами. Митька-юродивый, знаешь, что говорил?..

За много лет неурядиц и смуты народ не просто привык к голоду и лишениям – он другого не помнил. Каждый год с неурожаями, высокими податями, болезнями сливался с

³ Речь идет о Владиславе, сыне Сигизмунда III. Он являлся наследником Речи Посполитой, а в 1613 году был провозглашен Великим князем Московским, правителем России.

предыдущим в одну сплошную слякотную дорогу, сойти с которой – значит лишиться жизни. Но и продолжать путь представлялось многим сплошной маетой.

Еловское кладбище каждый год ширилось, захватывало новые земли у чахлого березняка, топорщилось кособокими крестами. Покойников не отпевали, поминки не устраивали... Все силы отдавались живым.

* * *

Нюта уткнулась лицом в теплый бок матери. Акси́нья подернула одеяло, чтобы оно накрывало дочь до самой макушки. За избой кто-то ходил, молчаливый и настойчивый.

Зверь?

Человек?

Тать?

Еловчане редко появлялись на пороге ее дома, две версты⁴ до избы знахарки казались в зимнюю бескормицу дорогой, которую не осилить.

Молчаливые гости разверзли уста.

Двое или боле мужчин переговаривались меж собой. Сколь ни напрягала она слух, ничего не могла разобрать. Скрипение снега, шорохи, скрежет. Будто зверь скреб когтями по доскам. Кажется, гости расчищали подступ к двери,

⁴ Верста – 1066,8 м.

заметенной выпавшим за ночь снегом.

Резкий стук в дверь. Акси́нья вздрогнула и, соскользнув с лежанки, схватила рубаху и душегрею⁵. Она металась по избе испуганной птицей. Подхватила на руки дочь. Осоловевшая Нюта таращи́ла глаза и пыталась что-то пискнуть. Мать спрятала ее в сундук, приговаривая:

– Сиди тихо, ни слова чтоб я не слышала. Тихо!

Незванные гости затарабанили в дверь, принялись долбить ее подкованными сапогами. Грохот отдавался в груди, сердце билось в том же настойчивом ритме. К Акси́нье вернулись силы, будто влил кто-то в утробу мясной навар – страх заставлял жидкую, голодную кровь шибче бежать по жилам.

– Иду я, иду, – сказала Акси́нья.

Она спрятала за спину нож, откинула засов и распахнула дверь. Та поддалась с возмущенным скрипом.

– Здравствуй, хозяйка. Уморились, пока дорогу к терему твоему расчищали. А что ты, голуба, такая неприветливая?

Акси́нья угрюмо смотрела на незваных гостей и берегла слова, пыталась понять, кто нарушил ее покой. Два крупных мужика еле поместились в хилой избенке. Один – тот, что затеял разговор, – лет тридцати от роду, бритый, будто нерусь, говорливый сверх меры. Второй мужик казался куда серьезнее своего товарища, лет на десять постарше, основательный, с усами и полуседой бородой. Оба в добротной,

⁵ Душегрея – женская одежда, которая надевалась поверх сарафана, кофта; доходила до талии или поясницы.

хоть и не новой одеже. Не простые крестьяне, а служилые⁶ казаки или слуги богатого хозяина.

– А что руку-то правую прячешь? Хлеб-соль забыла предложить? – Бритый ловко зашел Аксинье за спину. Она, кулема, и повернуться не успела.

– Зря так с людьми добрыми обходишься, – покачал он головой, разглядывая нож в ее руке.

Мужики с усмешкой смотрели на Аксинью, оглядывали ее затрапезный наряд, спутанные волосы, впопыхах не покрытые платком. Впору ей смутиться, запунцовать, прощения слезно просить.

– А что мне вас привечать?

– Эх, голуба, не повышай голоса. Мы с добром пришли, – оскалился бритый. Аксинья увидела, что вместо двух передних зубов сияла дыра. Потому разговаривал он так, будто жевал гороховую кашу.

– Не надо мне от вас ничего, ни худа, ни добра. Идите туда, откуда пришли – и на том разойдемся.

– Бойкая ты! Даром что еле на ногах держишься. Не можем сразу уйти, поручение у нас, серьезное поручение.

Он замолчал, уставился на своего бородатого спутника. Кажется, спрашивал у него совета: мол, дальше-то что делать?

– Дай дух перевести, умаялись от деревни по свежему сне-

⁶ Служилые люди – лица, которые несли военную или гражданскую службу в пользу государства.

гу-то идти, – спокойно сказал бородатый.

Аксинья занялась растопкой печи. За укладкой дров в разверстый зев она пыталась успокоиться.

– Растапливай, да поскорее... Мороз до самых костей жжет, – торопил бритый.

– Ребенок у тебя, что холодом-то его моришь? – поддержал бородатый.

Женщина не отвечала. Она вытащила из холщового мешочка трут, кресало, похожее на витой бублик, тяжелый кремь и настороженно посмотрела на гостей. Подвинув лавку к печи, мужики мирно расселись, стянули на пол немалые заплечные сумы – мешки из рогожи с крупной вышивкой на пузатых боках.

Аксинья била кресалом о кремь, но непослушная искра не падала на жженный огрызок льна, что служил ей трутом. Руки тряслись, кресало вихлялось, и Аксинья стукнула себя по пальцу, но даже не поморщилась. Она с трудом вытряхнула из мешочка кусок трута побольше.

– Чего трясешься, голуба? – возмутился бритый, вырвал из ее рук кресало и кремь, вмиг высек искру на льняной огрызок, поднес к дровам. Скоро изба наполнилась горьковато-пьянящим запахом сосновых дров и робким теплом.

Аксинья налила в горшок воду, засыпала траву, поставила посудину поближе к огню.

– А нам отвара своего нальешь, голуба?

– Налью.

«И белены бы в придачу», – добавила в мыслях Аксинья.

Гости не собирались уходить, ждали молча. Бородатый даже задремал, прислонившись к закопченной стене, а вскоре сон сморил и бритого. Аксинья разглядывала мужиков: на головорезов не похожи. Лица ясные, без печати порока и гнева. Давно заметила она, что дурные помыслы и поступки оставляют борозды на лбу, выворачивают губы, морщат лицо, превращая его в истертую подошву.

Аксинья налила в канопки⁷ отвар, подошла к мужикам, кашлянула. Они не желали покидать сонную опушку. Аксинья стукнула по плечу бритого: «Эй». Оба очнулись от дремы, благодарно кивнули, не ведая о темных мыслях хозяйки. Пока мужики с блаженным видом тянули горячее варево, сжимали руками глиняные кружки, Аксинья подбросила в печь поленьев: холод не спешил покидать избу.

Бритый прокашлялся, привлекая внимание Аксиньи:

– Ты с дочкой живешь, голуба? Покажи нам ее, девку свою.

– Какая дочка? Одна я живу.

– Да знаем мы все. Ты не бойся, мы худого не сделаем, – мужик с полуседой бородой говорил мягко, точно друг.

– Да зачем вам дочка моя? – с надрывом прокричала Аксинья. – Нет ее здесь, нет!

– А если мы посмотрим, голуба? – Бритый разозлился. – Прятаться особо негде, изба – крохотуля.

⁷ Канопка – кружка (устар.).

– Голуба, ты бабу-то не пугай. Она на нас, вишь, как на людоедов смотрит, – окоротил его бородатый.

– Тощая такая... Кости глотать – не любитель, – захохотал бритый.

– Ты его, балабола, не слушай. Шуткует он. Дочку свою покажь нам... Такое поручение у нас: дочь увидим – дело сделаем...

– Сказала я...

– А я знаю, где девка сидит, – бритый перебил Аксинью и резко распахнул сундук.

Нюта взвизгнула и попыталась ударить его чугуном, что хранился на дне сундука, но ее тонкие ручонки и цыплячий удар не нанесли никакого вреда.

– Шустрая, – удивленно пробурчал бритый. – Ну голуба... – Словечко это, «голуба», каждый раз выходило у него по-разному: то задиристо, то мягко, то гневно. А сейчас вышло с ласковым укором. Назойливое словцо, видно, стало его прозвищем. Если бы Аксинья не исходила страхом за свое дитя, она бы не сдержала улыбки: до того не подходило нежное прозвище Голуба дюжему бритому мужику.

– Мамушка... – Нюта устала на незваных гостей.

Голуба протянул к ней руки, чтобы вытащить, а она оскалилась волчонком. Выскочила из сундука, подбежала к матери.

– На тебя, егоза, глянуть надобно.

– Что на нее глядеть? – спросила Аксинья.

Бритый скорчил потешную рожу. Нюта спряталась за материной юбкой.

– Поглядели? – Аксинья сохраняла дерзкий тон, но все внутренности ее сжимались от тревоги.

– Пошли мы. Спасибо за питье, хозяйка.

Аксинья оторопелым взором проводила гостей. Они плотно закрыли за собой дверь, бритый подмигнул на прощание.

– А мешки дядьки нам оставили? – Нюта с надеждой поглядела на мать.

Испуг ее прошел, не оставив и следа, в голосе слышалось озорство. Такое оживление не появлялось на лице дочки с прошлой сытой осени.

У Аксиньи ноги тряслись, словно пробежала она пять верст без продыху. Все не могла поверить, что странные гости ушли, не причинили вреда ни ей, ни дочке.

Аксинья засунула ноги в старые поршни, распахнула дверь, закричала в предрассветную мглу:

– Стойте, да стойте вы. Эй! – Она подцепила заплечный мешок и охнула. – Тяжелый какой... Эй, Голуба!

– Ишь, запомнила, как зовут, – обернулся, блеснул щербатым оскалом бритый.

Гости удалились от избы по тропе на дюжину шагов.

– Мешки забыли, заберите! На что они мне?

– Ну баба – дура. Забыли... Вам мешки принесли, – сказал бородатый. – В дом иди, не выстужай избы.

Аксинья вернулась в дом, процедила духмяный отвар,

разлила по канопкам, протянула дочери. Любопытство манило проверить: что там в мешках? Но она себя сдерживала.

Всему свое время. Казалось, что торопливость и суета принесут разочарование, и в тяжелых мешках с вышитыми на боку скобками-стежками окажется бесполезное.

Нюта ждать не собиралась. Залпом выпив отвар, она развязала мешок.

– Мамушка, смотри. – Нюта с благоговением запустила руки в манящее нутро. – Зернышки.

Аксинья набрала в горсть ячмень. Крупные, светло-бурые зерна отливали золотом. Поверить в чудо среди голодной зимы 1613 года было совершенно невозможно. Но зерно, живое, сытное, заполняло два заплечных мешка, что принесли неожиданные гости.

* * *

– Я еще хочу варева. Вкуснотища, никогда такого не ела. – Дочка вмиг проглотила скудную горку каши и теперь протягивала Аксинье миску, заглядывала в глаза, словно попрошайка на паперти.

Аксинья ела ячмень по зернышку, смакуя каждую крупинку, прокатывала ее на оголодавшем языке, прикрывала глаза. До самого лета хватит им припасов. Возможно ли большее счастье?

Она старалась не думать о том, кто смилостивился над

одинокой бабой с малым ребенком, кто отправил два мешка с ячменем, овсом, рожью, кульком соли, пятью горстями сохлой рыбы, постным маслом и обветренным, но лакомым куском солонины. Человек, живущий в изобилии и довольстве.

Дочка слезла с лавки и подошла к Аксинье, глазенками показывая на чугунок.

– Нюта, нельзя больше тебе... И не проси меня, не гляди в рот. Ты наешься еще, обещаю, дочка. – Она проглотила последнее зернышко под обиженным взглядом дочери.

– Я не наелась. У нас вон сколько варева. – Дочь никогда не перечила матери, а тут разошлась, растревоженная забытым вкусом сытной каши.

– Не спорь ты, дочка! После того, как мы впроголодь сидели, много съешь – пожалеешь. Сказано тебе, Сусанна, нельзя.

Дочка встала из-за стола, сверкнула недовольно синими глазенками. Одни они и остались на исхудавшем личике с темными полукружьями вокруг глаз и пересушенными, бледными губами. Аксинья хотела сказать ласковое слово, приголубить, но сдержалась. Начнешь нежить дитя – опять примется канючить. Жалость терзала материнское сердце, но все, что извела Аксинья за годы знахарства, подтверждало: в жестокости своей она права.

Впервые за несколько недель окаянной жизни Аксинья вышла на божий свет и улыбнулась солнцу. Утробу не сотря-

сали болезненные позывы, тело согрелось, голова обрела ясность и равновесие. Свежий снег искрился на солнце, ослеплял своей чистотой, воздух, еще по-зимнему морозный, обещал скорое тепло. Чуткий нос Аксиныи уловил пьянящий этот запах, и она вдохнула его так глубоко, что закашлялась.

– Нюта, айда со мной. Погреешься на солнышке.

– Я спать хочу, мамушка, – буркнула дочь.

Утренние гости почистили крыльцо, отгребли в сторону снежный занос, но Аксиныя еще долго скребла деревянным заступом пяточок возле избы. Она управилась со всеми уличными делами, а было их не так много: ни коз, ни кур, ни коровы-кормилицы. Все сгорело или съедено было долгой зимой.

Пригретая солнцем, она мешкала, не хотела возвращаться в темную избу. Подхватив две кадушки со снегом, Аксиныя топталась на пороге.

– Нютка, открой дверь.

Тишина.

Она поставила кадушки на крыльцо, распахнула дверь и, встревоженная молчанием, зашла в избу. После яркого света глаза ее не сразу разглядели, что происходит внутри.

– Да что ж ты творишь? – Она выбила из рук дочери ложку, и горсть драгоценного ячменя просыпалась на пол.

– А-а-а, – залилась Нютка, опустилась на колени и стала сгребать в рот кашу вместе с грязным, стеленным еще осенью сеном.

– Выплювай! Плюй на руку, – кричала Аксинья. Нюта неохотно рассталась с кашей, глядя на мать, как на мучителя.

– Много съела? Отвечай!

Дочь заныла, размазывая кулаками слезы по грязной, замусоленной мордашке.

Знахарка вытащила из клетки кадучку с водой, лохань, канопку, утирки. Нюта наблюдала за ней со страхом, чуть подрагивая после рыданий.

– Терпи. Иначе помрешь, – безжалостно посулила Аксинья, зажала дочь меж коленей, приподняла ее упрямую чушку⁸, зачерпнула канопку с водицей и вылила прямо в разверстый рот.

Нютка ревела, брыкалась, кашляла, захлебывалась, икала, вновь кашляла, но скоро Аксинья добилась своего и исторгла кашу из Нютиноного жадного брюха⁹. До самой ночи она сидела, протирая прохладной тряпицей дочерино лицо, вливая отвар ячменя в полураскрытые, обметанные изнеможением уста.

– Святая Сусанна Солинская¹⁰, помоги дочери моей, дай ей силы и исцеление, – шептала она.

Знакомое, почти родное прозвище иноземной святой давало надежду, что та прислушается к лихорадочным молитвам матери из далеких земель под Солью Камской, близ Ка-

⁸ Чушка – подбородок (*перм.*).

⁹ Брюхо – желудок (*старорус.*).

¹⁰ Аксинья искажает имя святой Сусанны Салернской.

менных гор¹¹.

¹¹ Каменные горы, Камень – старое название Уральских гор.

2. Весновой

Дети быстро забывают невзгоды, солнечные думы затмевают дурное, и через неделю после неожиданного подарка и ячменной хвори Нюта казалась здоровым, полным сил ребенком. На щеки вернулся румянец, движения стали быстрыми, речь – звонкой.

Аксинья, напротив, извелась. Спала хуже прежнего, мысли о припасах не оставляли ее.

Как спрятать, уберечь добро от проходимцев? Избушка Глафиры крохотная, словно нора лисы. Небольшая клетушка-пристройка, подпол, залезть в который можно лишь через лаз у печи. Нет потаенного уголка, чтобы спрятать, замуровать припасы, что дороже золота и камней.

Аксинья перетащила в подпол меньший из сундуков, кряхтя и не по-женски ругаясь. Три дня рыла, вдыхала запах земли и тлена, визжала, встречая хвостатых гостей, – так и не изжила паскудный страх перед мышами. Скребла землю, чтобы упрятать сундук на дне подпола.

– Ты никому не должна рассказывать про тайник. Ни Тошке, ни Илюхе, ни Зойке – никому нельзя.

– А почему? То, что нам принесли еду дядьки, – плохо?

– Нет! Они сотворили добро, спасли от верной смерти. Я думала, мы с тобой не переж... – Аксинья проглотила страшные слова. – Но другие могут позавидовать нам. Почему дар

только нам предназначен? Захотят, чтобы мы дали им ячменя.

– А мы можем с ними поделиться. Дать Павке, Тошке, Илюхе и Ваньке... Можем?

– Если мы поделим на всех, на всю Еловую, то получится три горсти каждому. На день, два, три хватит, и все.

– Мы будем сытые, а они нет...

– Нюта, они не так голодны... У нас случилось несчастье, пожар... Мы остались без добытчика своего, Матвея... Не всем так тяжело пришлось, как нам с тобой.

Когда Аксинья смотрела на происходящее чистыми, наивно-синими глазами Нюты, она видела дочкину правду: зачем прятаться, скрывать добро? Раздать, поделиться, быть открытыми и честными. Но три десятка лет, что прожила она на земле, твердили ей: спрячь, молчи, не распахивай душу и кошель.

– Кто... – Она замолкла, выбирая из кучи поганых слов те, что подходят для пятилетки. – Дочка, кто принес нам с тобой хоть горсть ржи, капусты, луковицу? Кто накормил?

Приходили лишь те, кому нужна была помощь знахарки. Отдавали скудную плату и уходили прочь, не глядя в голодные глаза знахарки и ее малолетней дочери.

– Никто... никто не жалел нас с тобой. Отселили нас подальше, чтобы мы... – Аксинья опустила на пол, прямо на грязную солому и заревела, захлебнулась соленой, жгучей водой.

Все, что давно сдерживала, прорвалось. Лед на реке спокойствия взломался. Некому пожаловаться, не к кому голову измученную приклонить. Сама себе Аксинья и указчица, и советчица, и добытчица. Дочка прижалась к согнутой материной спине, обхватила ручонками, гладила, уговаривала. «Ты не плачь, не плачь, березка, в землю убегают слезки».

– Напугала я тебя, Нютка? – Аксинья шмыгала в подол.

– Мамушка, я ничего не скажу. Никому-никому. Даже Павке, – как клятву, повторяла заботливая дочь.

* * *

Нюта носилась по избе, и ветер, поднятый ее радостными руками-ногами, колыхал ветхую занавесь на обледенелом окне. Аксинья поймала егозу, закутала в платок так, что видны остались только синючие глаза и маленький, нахальный нос.

– А на ноги наденем братнины лапти, замотаем тряпицами, чтобы не замерзла Нюта. Да? – Ласковыми словами Аксинья заглушала тоску.

Вспоминала свои одежды, нарядные сапоги, крытую добрым сукном шубку – баловали родители младшую дочь, наряжали Оксюшу. Сейчас бы Нютке такие славные сапожки красной кожи. Хотя... и они бы пошли на похлебку в месяцы зимней бескормицы.

– А мы куда идем? К тете Параскеве? С Павкой поиграем,

на реку сходим. А скоро лед с речки уйдет? А, мамушка?

– На сход мы пойдем деревенский. Илюха вчера прибежал, сказал, надо быть всем.

– На сход? Там опять все ругаться будут, кричать! Я хочу, чтобы снег уже растаял. Скоро растает?

– Скоро, дочка. Весновой¹² уже наступил, будем прощаться с долгой зимой.

Снег на пригретых солнцем участках, у стволов деревьев посерел, смялся, потерял вид, будто старая, застиранная рубашка. Кое-где на поверхности его появились лужицы – робкий знак весны-красавицы. Воробьи устроили переполох в ветвях берез, самые смелые купались, хлопали крыльями.

– Мамушка, птицы тоже радуются!

– Они такие же божьи создания, как и мы.

– Они тоже молятся?

– Нюта, нам неведомо. Но сотворены они также Богом и... – Аксинья смешалась, не зная, как объяснить дочери то, о чем и сама помнила-то немного.

Библия, принадлежавшая Вороновым, сгорела, и теперь Аксинья не могла прочитать дочери Бытие, Евангелия от Матфея и Марка, Откровение Иоанна Богослова... Она далеко не всегда понимала, о чем говорилось в Книге, но благость и мудрость вечных строк проникали в самое сердце. Дочери она рассказывала на память все, что успела заучить во время долгих чтений Библии вечерами.

¹² Весновой – март.

– А крестики почему птахи не носят? – Нюта немедленно полезла за шиворот, пытаясь нащупать свой серебряный крест.

Матвей прошлым летом подарил его сестре в день поминовения святой покровительницы, Сусанны Салернской.

– Куда полезла? Только укутала тебя, горюшко! Расхристанная пойдешь? Вот Патрикевна-лиса.

– Матвейка звал меня так. Правда?

– Правда. – Аксинье не хватало веселых поддевок братича¹³, ласковых слов, вихрастой головы, что появлялась рядом с ней в тот миг, когда нужна была подмога.

– Соскучилась я по нему, – вздохнула Нюта.

– Вечно мы с тобой будем помнить о Матвее, и отце его Федоре, и матери моей, бабке Анне...

Деревня после зимы казалась осевшей, захудалой, измученной нескончаемыми бедствиями. Вокруг Якова Петуха уже сгрудилась куча мужиков, они размахивали руками, о чем-то упоенно кричали. Бабы и детишки собрались поодаль, они тоже казались взволнованными, как стая воробышков.

– Павка стоит, вон! Я пойду? – Нюта уже бежала, освобождаясь от цепкой хватки родительницы.

– На реку не убегайте. Рядом будь со мною, Нютка. – Но дочь не слушала и, растопырив руки по бокам, как круглая чудо-птица, мчалась к своим сверстникам.

¹³ Братич – сын старшего брата, племянник.

В левой ладошке Ньюта сжимала угощение для Павки. Как не порадовать друга?

– Здравствуй, Аксинья. Вижу, все у вас ладом. Дай обниму, – Прасковья раскрыла радостные, шумные объятия, как всегда, полная сил и слов.

– Прасковья, и тебе доброго здоровья. Зиму пережили – и тому рада.

– Да, жизни бы лучше становиться, а тут живем – у Бога милости просим. Будто вечность не видала тебя.

– Ко мне за зиму приходили немногие. Не так далече избушка, а дорогу запомнили.

Прасковья пропустила намек мимо ушей:

– Такая радость у нас!

– Что за шум? Что случилось-то?

– Дак ты не знаешь! Игнат вернулся. Вон, возле Якова, вишь?

Аксинья высмотрела наконец возле старосты худого, измученного мужика. Игнат рассказывал о чем-то, хватался за голову, требовал внимания каждого. Зоя держалась поодаль от остальных баб, держа за руку младшую дочку, Зойку. На полном ее лице – как щеки сберегла! – цвела довольная, чуть заносчивая улыбка, на объемном стане – наряд червонного, доброго цвета.

Прасковья со вкусом перебрала еловчан, чьи жизни оборвались за прошедшую зиму: старики и молодые, мужики и бабы.

– Марфа ж померла, слушай. Жалко-то бабу, – оживилась Прасковья, скорби в ее голосе не расслышать. – В эту субботу преставилась.

Аксинья перекрестилась, ощутила, как сердце сжала утра-та.

– Ох, Марфа, Марфа...

Было время, когда Аксинья поминала дурным словом молодуху, растрезвонившую родителям о ее счастье. Было время, когда ревновала ее, пышнотелую красавицу, к своему мужу. Несколько лет назад соседки неожиданно сблизились. Подругами не стали, нет, но забота о детях, общие горести и радости примирили их.

– Таська старшухой осталась. Справляется с хозяйством? – удержала она Прасковью, решившую, что разговор окончен.

– Что, Таська? Разве управится, дурища! Рыжая Нюрка самовольничает, никого не боится девка. Гошка Зайчонок воеет, как щенок. Гаврюшка – двухлетка, самые хлопоты с дитем, а еще и дочка мелкая. Не завидую я Таське. Приходила она, плакалась мне.

– Аксинья. – Таисия услышала обрывок разговора, но не показала и вида, что неприятны ей сплетни и домыслы. Подошла, сгребла знахарку в объятия крепко, точно родную. – Сказала Прасковьюшка тебе?

– Земля пухом Марфе.

Таисия перекрестилась, сжала губы, чтобы приняли подо-

бающее случаю выражение, но природное жизнелюбие, веселый нрав брали верх над положенной обычаем печалью.

– А Гошка слово первое сказал! То лепетал все, словно хлеб жевал, а тут забалакал.

– Какое слово-то? – спросила Прасковья.

– Мамошка¹⁴, – расплылась в улыбке молодуха. – Муж меня ласково так кличет. То тетешкой, то мамошкой. И брат его, Гошка Зайчонок, повторяет. Он, сиротка, мамкой меня уже считает, будто два сыночка у меня – свой и Марфин.

– По истечении зимы дошли до нас сведения о добром исходе сражения с ляхами, шведами и прочей нечистью. Целовальник¹⁵ Соли Камской принес изустное сообщение – то правда истинная.

– Так их, басурман, – вклинился Демьян.

– Не перебивай, скоморох. Еще осенью ворогов из Москвы выгнало ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Мининым. Счастье великое, за которое надо Господа славить.

Все перекрестились.

– Но он же, целовальник, напомнил, что много у нас недоимок. Их платить надобно.

Поднялся шум, и голос Якова утонул в возмущенных криках и бабьих всхлипах.

¹⁴ Мамошка, тетёшка – публичная женщина (*старорус.*).

¹⁵ Целовальник – должностное лицо в России, выбиравшееся в уездах и посадах; исполнял судебные, финансовые и полицейские обязанности.

– Молчите! Ввиду бедствий, претерпеваемых нами, недоимки взиматься будут не сразу.

– Да что ты с копейками своими заладил! Игнашка, скажи, чего навидался! – загудели мужики.

– Игнашка расскажет все, погоду, народ. С недоимками расплатиться надобно. Никто нам не простит, накажут со всей суровостью, – без угрозы, жалобно сказал Яков.

– Все в срок!

– Отъедемся – и отдадим.

– Игнашка, рассказывай.

Игнат снял потрепанную шапку, поклонился еловчанам.

– Чего навидался? Много чего. Вместе с посадскими¹⁶ отравили меня под Псков. А там делал, что обычно: подковы, да мечи прямил, да ножи точил.

– А с врагом-то дрался? – звонко выкрикнул кто-то из парней.

– Пришлось пару раз. Лях, он хлипкий, верткий – не чета нашему мужику.

– Порубили ворогов? – выпрашивал звонкоголосый, и Аксинья поняла, что не смолчал Тошка.

– Как есть порубили. Убегали они от казачков да прямо на лагерь наш вышли. Одному топором по темечку прямо тюкнул, второго скрутили с мужиками. А они-то, басурманы, оружие да баб побросали. Вот так.

– А бабы-то хороши у врага? Помяли всласть ляшек? –

¹⁶ Посадские люди – основная часть населения города, платившая налоги.

крикнул тот же звонкий голос.

Бабы зашикали на охальника, мол, не о том говоришь, а Таисия продолжала улыбаться, словно не ее муж задавал пакостные вопросы о польских бабах. Вырос из Тошки похабник и зубоскал, сокрушалась Аксинья.

– А Семена моего не видел? – тихо спросила сторбленная Катерина.

– Так в другом месте был, поди, – Игнат растерялся, будто почувствовал себя виноватым за то, что не встречал еловчанина.

Деревенские долго еще не расходились. Сложно было поверить, что Игнат вернулся жив-здоров из гущи кровопролитья, что череда бедствий и горестей подходит к концу, что скоро жизнь вылезет из-под заморского змея, который принес земле русской кручины да беды, и пойдет, как раньше, при Иване Грозном и сыне его Федоре.

3. Звери о двух ногах

Аксинья тащила кадушку, и ноги расплзались на тропке, что чавкала, будто голодный поросенок. Снежный покров попрыгался по укромным, тенистым лесным распадкам, несмело белел, боясь напоминать о себе измученным людям и зверям. В суровом пермском климате в болотистых и низменных местах затвердевший, темный лед не уходил даже среди жаркого лета, обдавая неожиданной прохладой спешащего путника.

– Нюта, не отставай, – повернулась Аксинья и тут же скривилась, потянула бочину.

– Бегу, бегу!

Проворная девчушка шлепала по грязи в больших лаптях и успевала крутить головой, задевать ладошками ветки с набухшими пушистыми узелками.

– Травка, – завопила она и, бросив наземь березовый валец¹⁷, горшочек с золой, прижалась ладонями к первым зеленым стрелкам.

– Просыпешь золу – пойдешь заново из печки выгребать.

– Не просыплю! – Подхватив на бегу валец и горшочек, Нюта побежала дальше, обогнала мать и припустила по обрыву.

Усолка встретила Аксинью и Нюту осыпавшимися под но-

¹⁷ Валёк – деревянная пластина с ручкой для стирки белья.

гами камнями и карканьем воронов. Птицы с наглым видом ходили по берегу, не обращая внимания на людей.

– Кыш! – Нюта кинула в сторону одной из крупных птиц камень, и ворон взлетел, издав негодующий звук.

– Зачем безобразничаешь? Не пугай птиц понапрасну.

– Нас Илюха так научил.

– А отчего ты решила, что он верному учит?

– Ну... Черные птицы плохие, они мертвяков клюют.

– Вороны клюют, – Аксинья сдержала гадкое слово «па-
даль», – всякий сор, чистят землю. Они умные птицы, про-
ворные да осторожные. И дед твой с гордостью носил про-
звание Ворон.

– Это всего лишь прозвище. Обидно, что дед умер до мо-
его рождения, – хитрая девчушка решила увести разговор на
другую поляну, но Аксинья всегда договаривала свои слова.

– Смотри, ворон, которого ты шуганула, далеко не улетел.
Сел на землю от тебя подальше и ждет. Хитроумный и сто-
рожкий.

– Черные птицы мне не нравятся, – заявила Нюта и отвер-
нулась, словно отказывалась слушать материны речи. Упря-
мица.

Аксинья вытряхнула на камни ворох засаленных вещей
и тряпиц. Юбки, старая душегрея, шапки, рубахи, утирки,
дырявые скатерки, сарафаны, оставшиеся от Глафиры.

Мокрые вещи еще хранили тепло печи, где с утра стояли
в воде со щелоком. Аксинья выбрала большой плоский ка-

мень, расстелила на нем Нютину юбку и нанесла первый удар вальком. Чем больше она колотила, тем больше входила в раж, не чувствуя уже усталости в плечах. Выколачивая зимнюю грязь из замурзыканных вещей, она освобождала душу от уныния, разочарования в жизни и людях. Нескоро села передохнуть на ствол, прибитый к берегу норовистой Усолкой.

Река уже избавилась от большей части ледяного покрова, и льдинки, и большие льдины неслись вниз по течению, чтобы скоро растаять в лучах весеннего солнца. Аксинья берегла дочь от холодной еще речной воды, потому предоставленная самой себе девчушка скакала по берегу, пела о реках-ручейках и молодой девице, что пришла к берегу пустить венки и спросить о суженом.

Аксинья полоскала вещи в зеленоватой воде Усолки, и скоро дрожь охватила ее. Пальцы сводило от стужи. И намокший подол, и полные воды поршни не пережить ей еще пару седмиц назад. А сытая утроба все перенесет, любую тяготу перемелет. Сытость – мать, голод – мачеха.

Дочь помогала Аксинье, держала выжатые вещи, складывала их в лохань, морщила лоб.

– Мамушка... Отец мой, он где? Почему оказался далеко? – Нюта обрушила на мать вопрос неожиданно, будто обухом по голове. – У Илюхи отец был, да воевать пошел. У Нюрки здесь батя, Георгий Заяц. У Павки умер. А мой где?

Несмышленная Нюта никогда не спрашивала об отце, не

пересказывала сплетен, что собирали в деревне без малого семь лет. Акси́нья легкомысленно надеялась, что дочь не будет выведывать тайны прошлого. Когда вырастет, заневестится, мать ей все и поведаёт, без утайки.

– Отец твой... Далече он.

– Почему далече? Хочу, чтоб тут был.

– Худое он сотворил, наказали его, – слова не лезли на божий свет.

– Он не вернется? – Нютка решила дознаться до правды.

– Вернется, вернется, дочка. А как же!

– А когда вернется? Скоро?

– Скоро, доченька, оглянуться не успеешь.

Акси́нья тащила кадку с выстиранным бельем, и груз тянул ее к земле. Груз одежды, впитавшей воды Усолки, или лжи, которую сказала она... и еще не раз скажет дочери?

– Можно побегу вперед? – Нюта похожа была на молодую кобылку, что тяготится навязанным ей медленным шагом.

– Беги, дочка, только осторожнее.

Акси́нья поднималась по уходящей вверх тропе, и память подбрасывала ей картины жизни с Григорием Ветром. Вот она, отважная, пришла к нему темной ночью, сбежав из-под замка. Вот их свадьба в родной деревне, ее робкая улыбка, его жадный взгляд. Вот Григорий сжимает в своих шершавых руках ее податливое тело. Страсть была глубже бездонного колодца, слаще медуницы, ярче звезд на августовском небе.

Аксинья пыталась не думать, что ждет ее и Нюту, если Григорий вернется из Обдорска. Десять лет казались бесконечным сроком, и пережить их в далеком зимовье не просто. Но Аксинья знала, каким упорным и выносливым может быть муж. Он пережил дорогу в Крым, плен, множество тягот...

Ее мысли оборвал дочкин вскрик, и Аксинья бросила белье, рванулась к дому. Распахнутая дверь, горстка зерна на крыльце и возмущенные слезы Нютки.

– Он... он украл, – дочь заикалась, глотая слезы.

– Ты узнала его?

– Дядька такой, – дочка показывала ручонками, как выглядел вор, но что-то путное узнать было невозможно. – Мешки утащил.

– Ты его знаешь? Одет как?

– Рубаха и темные порты. Не знаю, – захныкала девчушка.

Аксинья с надеждой открыла крышку подпола. Тать откопал спрятанный сундук и утащил почти всю снедь. Лишь горшок с маслом сиротливо застыл на разрытой земле.

* * *

– А ты чего смурная? С Нюткой что? – Тошка привез на телеге сухие коряги и перетаскивал их под хлипкий навес, сооруженный осенью.

– С дочкой хорошо все. Устала я только, Тошенька. Обес-

силела от долгой зимы и тягостной жизни.

– А я пуще твоего устал. Кабы ты знала! Хочу с тобой жить, чтоб Таську не видеть. Коровица проклятая.

– Она сказывала, какие прозвища ты ей даешь, и Зайченок, брат, вслед за тобой повторяет.

– О чем ты? – Антошка остановился, и высохший ствол осины со стуком упал наземь.

– Мамошка... Так жену зовешь? Она тебе не девка гулящая, а жена твоя венчанная!

– Вот оно что! Ты меня учить будешь? – Крылья его крупного носа затрепетали, словно хищная птица парила в воздухе.

Тошка пнул корягу, чертыхнулся, подхватил ее и потащил к дому.

– Тошка, я добра тебе желаю...

– А сказала она, почему я ее непотребной бабой назвал? – Он поднял глаза, и за их гневным блеском Аксинья почувяла какую-то обиду.

– Наболело – скажи.

– Не буду я говорить – только гаже станет. Она Марфу боялась, строжилась. А теперь нет ее, и Таська... – Тошка грязно выругался.

Тоска звучала в его голосе, и Аксинья вспомнила, как часто он поливал мачеху, Марфу, грязью, не желал звать матерью. Лишь время и утрата близких расставляют все по своим местам, даруя человеку понимание. Что имел, что потерял,

что ценить надо было, пока смерть не забрала.

Аксинья, повинувшись внезапному порыву, подошла к Тошке, сыну Ульянки и Григория Ветра, и прижала к себе. Ее руки ворошили темные волосы парня, гладили по голове:

– Перемелется все, зайчик.

– Не перемелется.

– У тебя сын да дочка, про них не забывай.

– Мой ли сын? Не знаю я. Смотрю на него – чужая рожа, мерзкая. Если Матвейкин сын, одно дело, благой расклад, могу принять и растить как своего. А мож, от какого-то молодца залетного?

– А ты верь, что твой – проще тебе будет. И успокоишься сам, и ровнее жизнь потечет.

– Не могу я... Пытался я, тетка Аксинья. Бога молил о терпении и покое... Да не могу.

– Не мне тебе говорить о прощении.

– Ты – говори. Тебя я слушать могу. Ты правду говоришь, а не притворяешься. А отец... Он за словами «твой долг», «твоя жена» прячется.

– Отец заботится о тебе, обо всей семье.

– Какой он мне отец?

– Он вырастил тебя, любил, научил всему.

– И на Таське, потаскухе, женил, не пожалел. За ней приданое хорошее давали – как не женить!

Тошка был жесток, и как убедить его в том, что отец его, Георгий Заяц, хотел лишь добра и растил чужую кровь, чу-

жую плоть как свою, Аксинья не ведала.

* * *

Через два дня Еловая переполошилась.

Детвора играла возле Усолки, радуясь установившейся доброй погоде. Павка, Прасковьяин сын; Нюта, Аксиньиная дочь; Кузька, поскребыш¹⁸ Феклы; кругленькая Зойка, дочь Игната и Зои; Ванька, Семенов сын. Десятилетки Илюха Петух и Нюра Рыжая Федотова, дочь Зайца, приглядывали за детворой.

Через двор полусумасшедшей бабки Галины, расположенный в самой низине, талые воды стекали в Усолку. От двора начинался пригорок, поросший редким березняком, а ближе к реке ивами. Бурливый, задиристый ручеек, что питался вешними водами с пригорка, появлялся каждую весну и манил детвору. Пускать щепки, которые устремлялись в Усолку, устраивать запруды, ловить лягушек...

– Я вожу, – выкрикнул Илюха.

Бойкий, остроязыкий, он давно оправился от осеннего недомогания. Староста Яков не жалел Илюху, вдоволь насытил розгу о его спину. Теперь лишь красные рубцы на спине напоминали о наказании за поджог. Изменилось одно: Илюха перестал обижать Нютку Ветер.

¹⁸ Поскребыш – поздний ребенок.

– Побежал ручеек,
Нашей речки поперек!

Детишки беспорядочно сгрудились возле ручейка, Илья подходил и разворачивал так, чтобы каждый глядел в затылок другого, отвешивал подзатыльники.

– Побежал снеговой,
Побежал озорной,
По двору, по улице,
Мимо нас и куриц!
У-ух!¹⁹

На последнем выкрике каждый должен был перескочить ручей и оказаться на противоположном берегу. После громкого Илюхиного «У-ух» тут же поднялась возня: мальчишки пихались, не давали друг другу перескочить, девчонки визжали со страху. Ванька упал в ручей, промочив порты, Зойку кто-то – в сумятице не разберешь – ударил по руке, и она причитала:

– Отцу пожалуюсь, он вам покажет. Он вогненный бой²⁰ принес. Покажет вам!

– Ручеек-то узкий, в два локтя, – ерепенился Илюха с противоположного берега, скаля острые белые зубы. – Как не

¹⁹ Здесь и далее авторские стихотворения, вдохновленные русским народным творчеством.

²⁰ Огненный (вогненный) бой – так в России называли огнестрельное оружие.

перепрыгнуть?

Восьмилетний Кузька, сын Феклы и покойного пьяницы Макара, приземлился проворно и ходил по бережку гоголем.

– Молодец я красный-прекрасный. Всех я ловчей. Всех я умней. Вот брат Ефим приедет, мне сапоги справит с каблуками, не угонитесь, – похвалялся он, обтирал о сухую траву дырявые поршни.

– Я сапоги твои заберу, тебе они, голодранцу, без надобности. – Илюха перескочил через ручей и показал кулак Кузьке.

– Я в лес до ветру схожу, – сказал тот и скрылся в кустах ивняка.

Нютка Ветер перескочила, как кошка, ловко приземлившись на две ноги, да потеряла равновесие и упала прямо в жидкую грязь.

– Ты чего ж, нескладешка такая, – глумился Илюха.

Он поднял девчущку, легонько щелкнул по макушке.

– Дальше играть будем, – пискнула она.

Детвора продолжала игру: до одурения перескакивали ручей, смеялись, барахтались в грязи.

– А Кузьма где? Почему не вернулся? – вспомнил Илюха.

Никто рыжего мальчонку не видел.

Все отчего-то расстроились и собрались по домам.

– Рыжая Нюра, уведи малышню, – велел Илья, и Ульянкина дочь скривилась, но спорить с заводилой не стала.

Зоя хныкала, баюкала ушибленную руку, Нюта Ветер и Нюра Федотова шли молча, с недоверием косясь друг на дру-

га. Почти тезки, Сусанна и Анна, они не испытывали приятности друг к другу. Старшая, Нюра, Ульяновкина дочь, раздражалась, когда мелкая Нюта лезла к ней с играми и тряпичными куклами. Пары окриков хватило, чтобы Аксиньиная дочь задела обиду и перестала донимать Рыжую Нюру.

– Больно тебе, Зоя? – Нюта взяла за руку девчущку.

– Больно, – шмыгнула Зойка.

– Пошли ко мне, матушка даст тебе мазь – в два дня все пройдет.

– А моя мать про твою говорит: ведьма она, колдует и с чертом знается. Не пойду к тебе, еще порчу наведете на меня.

– Мать твоя злая. Вечно гадости про всех говорит.

Зойка не вступилась за родительницу, Зою-старшую, вздохнула:

– Злая! Недавно так меня отхлестала, что я сидеть не могла. Кур покормить забыла.

– Эй, мелкота, – суетливо махнул рукой Никашка и благодушно улыбнулся, чего отродясь за ним не водилось.

Он тащил из леса кожаный мех²¹ и сгибался под его тяжестью. Березового сока набрал, жадюга?

Девчонки помахали в ответ, а Нюта остановилась и долго смотрела вслед мужику.

– Что столбом встала? – возмутилась Рыжая Нюра. – Сока березового захотела? Иль втюрилась в Никашку?

²¹ Мех – мешок, кожаная емкость для жидкости или сыпучего материала.

Нюта Ветер молчала, только крутила в руках замусоленный конец старого материнного платка, надежно укутывавшего ее голову, грудь и спину.

К вечеру явился встревоженный Тошка: пропал Кузьма, Феклин сын. Как ушел в лес до ветру, так и не явился обратно. Фекла бегала по деревне, причитала: «Сынка мой, сынка». Но вопли ее оставались без ответа. Все парни и мужики снарядились искать Кузьму в окрестных лесах. Мальчонка как в воду канул.

На следующее утро открылась неприглядная правда.

Еловская детвора спозаранку бегала по берегу Усолки, выпросив часок на сбор березовых и сосновых почек – первого средства при весенней бескормице. Илюха, самый длинноногий и старший, опередив всех, мчался быстрее ветра вдоль водной глади по узкой кромке берега.

Увидев что-то страшное, он закричал, словно полоумный, споткнулся, упал, чуть не коснувшись того, что лежало на камнях. Три ворона, которых оторвал он от сытной трапезы, взлетели, подняв ветер мощными чернокрыльями.

– Илюха, ты чего как маленький орешь? – Ванька Петух первым догнал брата, согнулся, ловя воздух. – Чего... – и оборвал сам себя, всматриваясь в неопрятную кучу мяса и тряпья.

– Ты девок останови, не надобно им видеть, – попросил Илюха.

– И что тут у вас? – Павка, Прасковьян сын, не удержался

на скользкой земле, что пропитана была не только влагой, но человеческими соками.

Он упал прямо на кучу расклеванного воронами мяса. И закричал от ужаса, не в силах понять, принять, что еще вчера кости, лоскуты кожи и выклеванное мясо были озорным и веселым Кузькой. Павку вывернуло наизнанку, и долго еще утробу сотрясали позывы, и явил он на свет кашу и хлеб, съеденные утром.

Нюту и Зойку близко к покойнику не пустили, берегли. Илюха решил остаться возле него, чтобы стеречь от голодных воронов. Ни Ванька, ни Павка не согласились сидеть на берегу, слишком большой ужас внушал им мертвый Кузька.

– А можно я тут посижу? – пискнула Нюта Ветер.

– Вечно ты учудишь, – сказала Зойка и отвернулась от подруги.

– Нютка – девка, какой с нее толк? – хмыкнул Павка.

– Девка – не девка, а рыгал здесь ты.

– Так я прямо в него, я весь... – Павка глядел на свою рубаху и порты в коричневых пятнах и чувствовал запах мертвечины, смешанной с его собственной рвотой.

– Оставайся, Нюта, коли не боишься, – разрешил милостивый Илюха.

– Я с тобой не боюсь, – ответила та, и лучших слов для Ильи, сына Семена, было не найти.

Дети подняли шум в деревне.

Тошка, Георгий Заяц, Никашка и растрепанная Фекла

прибежали к берегу Усолки, уложили Кузьку на рогожу и вернули в родную деревню.

Кто сгубил невинного Кузьку, рыжего весельчака, бесхитростного мальчишку? Мужики долго судили-рядили, вспоминали плоть, что ключьями висела на костях, словно порезанная острым ножиком, и сошлись на том, что злодеи-людоеды подстерегли Кузьку и утолили голод. Грех поедания человеческой плоти расцвел на Руси в годы бедствий и никого не удивлял... Но тем страшнее было видеть сейчас, после победы над лихом и ляхами, подобное злодейство.

Кузьму схоронили, и родители перестали выпускать со двора детей без пригляда взрослых. Нюта долго еще просыпалась со страшными криками, и мать успокаивала ее, отпавала травами, и Илюха Петух еще пуще возненавидел воронов и гонял их камнями, безжалостно расправлялся с зазевавшейся птицей. Скоро у него скопилась гора длинных черных перьев, которые он выменивал на всякие нужности у еловских мальчишек.

* * *

На Пасхальную седмицу²² Еловая гуляла, вытащив из закромов последние запасы скоромного. О блинах никто не вспоминал, но ржаные и ячменные коврижки с истолченны-

²² Пасхальная седмица – неделя после Пасхи.

ми побегами лебеды и крапивы красовались на каждом столе.

– Кушайте, гости, – угощала Прасковья духмяной кашей на масле и свежей стряпней.

– Вкусные коврижки, – одобрила Нюта с набитым ртом.

– На здоровье, – улыбалась гостеприимная хозяйка.

Она поминутно давала поручения Лукаше и Настюхе, рассказывала о горе безутешной Феклы, потерявшей и мужа, и младшего сына.

– Мож, старшего дождется. Игнат пришел, должны и Фимка с Семкой вернуться. Бог милосердный.

– Фимка... Сколько раз имя слыхала, а самого не видала, – встряла в разговор Лукаша.

– Женихом уже примеряешь? – захохотала Прасковья, но, глянув на Аксиныю, осеклась.

– Говорите! Что меня боитесь? Я ж понимаю, не вечно ей по Матвейке реветь. Жизнь идет, Лукерья – девка видная, замуж ей надо выходить, детей рожать.

– Отъестся – краше всех будет. Тогда жениха и найдем.

Никашка поздоровался с гостями, вытер руки о темные порты добротного сукна, сел за стол, в избе запахло крепким мужским потом.

Нюта наклонилась к матери и что-то шепнула на ухо, та поменялась в лице.

– Прасковья, выйдем. – Аксиныя резко встала, и подруга устремила на нее удивленный взор.

– Добро, – цокнула Прасковья.

– Ты говорила, что масла постного одолжишь. У меня вторую неделю как закончилось... – уже в сенях сказала Акси-
нья.

– Пойдем в погреб, подруженька.

Погреб в доме бывшего старосты Гермогена, где жила теперь Прасковья с семьей, располагался, против обычая, во дворе. Покойный много лет назад срубил добротную клеть, вытаскав из ямины несколько кадушек земли. Узкая дверь, скрипучая лестница уводила вниз. Прасковья взяла малый светец с лучиной – день был в разгаре, но, там, внизу, гнез-
дилась сырая полутьма.

– Гляди, добро я запасла, – похвалилась Прасковья.

– Откуда все? – Аксинья оглядывала погреб и дивилась, что в голодную годину семья приберегла снедь: несколько мешков зерна, вилки капусты, связки лука, редька...

Она подошла ближе к одному из мешков и ткнула паль-
цем:

– Мой мешок, с тремя скобками на боку. Как он у тебя оказался?

Прасковья споткнулась и чуть не скатилась по крутой лестнице. Аксинья схватила ее за рукав, душегрея жалобно затрещала, но доброе сукно выдержало. Иначе лежать бы Прасковье еще одним кулем на земляном полу.

– Недавно тать забрался ко мне, – Аксинья смотрела на подругу, не отрывая глаз, – откопал сундук да утащил два

мешка с зерном.

– Вор? Откуда вор?

– Знаю теперь откуда... Нютка Павку твоего угостила ячменем проросшим.

– Да почему я знаю! Угостила да угостила!

– А Никашка прознал. Рассказал ему Павка или показал – все одно.

– Сочинять ты горазда, Аксинья.

– Мешки, погляди, вышиты стежками. Мои мешки, мое зерно. Только возрази мне, Прасковья – душа коровья.

– А откуда у тебя запасы взялись? Люди знают, что было у тебя – все сгорело.

– На исходе Великого поста благодетели принесли снедь.

Все мужики еловские ходили в светлых портах, вытканых женами да матерями, один Никашка щеголял в темных, из сукна, что продавали на рынке купцы. Не по Сеньке шапка – не подобает обычному крестьянину, черной кости, ходить в дорогих портах. Да Никашка сам себе обычаи писал. Темные порты вывели Аксинью на воровской след.

– Аксинья, ты совсем сдурела? Ишь выдумала! Да и что ожидать от тебя, ведьмы. Разум потеряла...

– Прасковья, свое добро я забираю. – Аксинья взяла один мешок и чуть покачнулась.

Второй мешок оказался почти пустым, только на дне перекатывались зернышки.

– Бесстыдница, – бормотала ей в спину Прасковья, но не

препятствовала, мешки из рук гости вырвать не пыталась.

Обливаясь потом, Аксинья вышла на божий свет, кинула наземь кули с зерном. Прасковья не спешила подниматься, словно решив остаться внизу. Аксинья ждала. Мороз кусал ее лицо и ноги, она куталась в плат. Упорство, бывшее всегда в нраве ее, с годами лишь крепчало, становилось средни упрямству и ожесточенности. Когда чуяла она за собой правоту, шла через бурелом и бурные ручьи.

Наконец, кряхтя и жмурясь, Прасковья тяжело поднялась, заперла погреб на огромный замок, несколько раз уронила ключ. Аксинья стояла на ее пути и глядела на ту, что считала подругой.

– Не хочешь, чтобы к Якову я пошла – рассказывай.

– Я не знала, вот те крест не знала, – испуганно шептала Прасковья. – Никон то репы принесет, то капусты, то монет. Сказывал, за работу хорошо платят, я верила. Потом узнала, что он с дружками по деревням ходит.

– Он хуже, чем вор. Таким прощенья нет, и Божьего суда нет.

– Тише говори. Аксинья, не кричи. Тебе ли судить его? Сколько пережил он с малолетства самого, и голод, и унижения. Всяк будет к лучшему идти, о семье своей заботу нести.

– А ты почему потворствуешь ему?

– Я знать не знала, что он к тебе залез. Запретила бы ему, вот тебе крест, не по-человечьи это, у односельчан своих красть.

– Нет в тебе христианского сострадания, страха, так о брате подумай. Поймают ведь, рано или поздно поймают, – настаивала Аксинья.

– Умный он, не сыщут Никона вовек. Кто ловить-то будет? Сейчас жизнь на лад пойдет, братец дела худые оставит. Ты не расскажешь, Аксинья, Христа ради прошу?

– Смолчу я, в память о прошлом.

– Ты прости брата моего, Аксиньюшка, он по дурости, не со зла.

– Ему прощение мое – что волку капуста. И мстить мне или дочери моей вздумает – не пощажу, слов худых на след его нашепчу.

– Нет, Аксинья, Никон и не подумает о таком! Настюха рожать будет летом... – Прасковья не стеснялась говорить о важном.

– Пошлешь Павку за мной.

Аксинья молчала всю дорогу до дома, и Нютка, не задавая вопросов, с сосредоточенным видом тащила второй мешок, где зерна осталось дня на два, не боле. Еловчане провожали их внимательными взглядами, но вскоре отворачивались, видно, решив, что добрая подруга помогла Аксинье не помереть с голоду.

– Передохнём, дочка. – Аксинья скинула мешок на влажную землю, повела плечами.

– Никашка наши запасы взял? Он тать?

– Дочка, в такие худые времена всяк может дурное сотво-

рять.

– Мне с Павкой играть теперь запретишь?

– Время покажет, Сусанна.

– А ты с теткой Параскевой дружить не будешь?

– Пошли дальше, любопытница.

Аксинья потратила весь вечер на то, чтобы спрятать зерно заново, в сарае-развалюхе, и все то время, что она рыла полумерзлую землю, твердила вслух:

– Проклятые... проклятые... звери.

Она могла сколько угодно убеждать дочь, что в тяжелые времена люди совершают худые поступки, что делают они подобное, влекомые нуждой, но сама не могла обрести в душе мир, принять и простить, обуздать нехристианскую ненависть. Полночи ей снилось, что все, кого обокрал Никашка, пришли расквитаться с воров. Посиневший, жалкий тать болтался на березе, а Прасковья рыдала рядом, умоляя ослабить веревку.

4. Ложь

Яков перед севом пообещал всем еловским вдовам и безмужним бабам, что окажет им помощь, не обделит землей и снизит подати²³. Аксинья милости его дивилась, кланялась в пояс. Также благодарили его Фекла, и престарелая Галина, и Агафья, и Катерина. Каждая из них связывала облегчение своей участи с окончанием гибельного времени.

14 марта 1613 года посольство из лучших московских людей прибыло в Ипатьевский монастырь бить челом от всей земли Михаилу Федоровичу, отпрыску боярского рода Романовых. Послы со всем почтением просили юного Михаила, чтобы взшел он на умытый кровью престол, кланялись и матери его, инокине Марфе, просили ее благословения и помощи.

С великим гневом и слезами отказывались они от дела великого. Через шесть часов непрерывных уговоров и молебнов Михаил согласился. Радость согрела всякое русское сердце, к весне каждый город, каждая деревня и заимка приносили присягу и превозносили нового государя.

Имя отца его, Филарета, в миру Федора Никитича, ведомо было всем. Кто, как не он, созывал народ бороться с врагами, рассылал грамоты по городам, увещевал бояр, служилых, казаков, купцов, крестьян. Ныне Филарет томился

²³ Подать – в России прямой налог в пользу государства.

в плену, захваченный погаными ляхами, и отец Сергей настойчиво поминал:

– Молимся о здравии митрополита Филарета, отца милостивого государя Михаила Федоровича, о матушке государя инокине Марфе, о благополучии их милостью Господа нашего...

И возносили молитвы в искреннем порыве, уповая на избавление от голода, нужды, безвластия и несправедных государей, что занимали трон не с божьего благословения, как нынешний молодой царь, а из корысти и алчности.

* * *

После дня поминовения преподобного Корнилия Комельского²⁴ установилась летняя погода с солнечными днями, теплыми ночными дождями. Все, посаженное в землю неутомимыми тружениками, дало дружные всходы.

Аксинья с Нютой обихаживали участок возле избы – за долгие годы все заросло шиповником и березово-осиновой порослью. Тошка вырубил молодые деревца, что окружали двор, выжег обрубки и корни, и в черную, сдобренную золой землю засеяли репу, редьку, капусту, лук – все, что удалось выменять на меру ячменя.

²⁴ День поминовения Корнилия Комельского – 19 мая; преподобный Корнилий Комельский – отшельник, нестяжатель, игумен Корнилиева монастыря. – *Все даты даны по старому стилю.*

Прошлым летом с помощью безотказного Тошки подлатали старый сарай, выправили тын, расчистили полосу, что отделяла двор от вездесущего леса. За два года, что жила Аксинья в Глафириной избе, обратилась она в теплый, милый сердцу дом.

– Хорошо у тебя, – привычно вздыхал Тошка. – Тишина, благодать, толстозадая муха не жужжит под ухом. Гляжу на нее – и поднимается изнутри! Тошно.

– А ты пальцы в рот сунь – вот так, – Нютка зачихала перст в рот и перестаралась, закашлялась. – Я каши переела, так матушка научила.

– Попробую, Нюта, – захохотал Тошка, и его глаза превратились в щелки. – Слушай, Аксинья, есть у меня новость.

– Какая? – Аксинья насторожилась, и мелькнуло в голове ее имя мужа.

– Вчера утром Семен пришел.

– Семен? – Аксинья на мгновение замерла, шумно выдохнула воздух.

– Катерина довольнешенька, – Тошка сделал вид, что не заметил волнения Аксиньи. – Да он вроде как не в себе.

– Не в себе... Что с ним такое приключилось?

– Я ж не знахарка, откуда мне знать? Пришибленный ходит, чудной, точно пару раз березовым кругляшом приложили. Я не говорил, не ровня, отец долго с ним сидел на заваulinке, потом Таське рассказывал. Таське, – повторил Тошка, будто Аксинья не услышала.

– Радость Катерине и сыновьям, что муж вернулся.

– Илюха с Ванькой совсем ошалели, на всю деревню орут.

Я утром на реку пойду, давеча дюжину щук словил, добрых. Тебе принести?

– Рада буду, – благодарно подхватила Аксинья. Не спросил ее Тошка, милое сердце, ждет ли она Семена, чужого мужа. – Похлебку добрую сварю.

– Я весь улов тебе принесу, Таська рыбный дух не любит. Воротит ее, царевишну.

Высокий, с короткими темными волосами и печальной складкой в уголках губ, вспыльчивый и добрый, Тошка вырос на ее глазах. Порой Аксинье казалось, что он приходит-ся ей родичем, что течет в них одна кровь, она так желала ему славной судьбы, хорошей жены, любимых детишек. Но все больше понимала, что в разладе с Таисией виноват не он один.

– Нос кривить – не по нынешним годам. А щука – царская рыба, грех отказываться. Зимой что ели, вспомнить страшно, – Аксинья осеклась, бросив взгляд на дочку.

Из верного пса Аксинья сварила похлебку в разгар голода. Суп вышел душистый, с кружочками жира, без горечи и дурного духа. Будто из птицы или зайчатины – Нюта нахваливала варево, просила добавки, а мать глубокими вдохами прогоняла болезненные судороги, прятала слезы и рассказывала байки об ушедшем в лес Буяне. О том, что живет теперь и радуется в избушке на куриных ногах да лиса с белками

в гости к нему приходят. Дочка сказки слушала с открытым ртом.

– Не будем о худом поминать. Жди Катерины – гордость за пазуху засунет, за советом к тебе явится. Так и знай, – хмыкнул Тошка и, дернув Нютку за косу, скрылся в лесу.

* * *

Сказал – как в воду глядел.

Через пару дней на тропке, ведущей в Аксиньину избу, показалась женская фигура. Аксинья прищурилась – Семенова жена плелась медленно, чуть сгорбившись, с неохотой ступая по молодой траве. Шла за помощью к сопернице.

– Аксинья, доброго здоровья! Я вот... принесла... – она протягивала сверток доброго, лазорево-синего полотна. – На сарафан тебе иль дочке.

Аксинья ощущала неловкость и смятение женщины, которую судьба наказывала не раз. И шашни мужа, и его исчезновение, и злобная свекровь, и вредный Илюха – все норовило выбить душу из Катерины, а она противилась, берегала тепло. Если бы не Семенова похоть и невольная тяга к нему Аксиньи, могли бы они с Катериной стать добрыми соседками.

– Здоровья и тебе. Что надобно? Не для беседы дружеской пришла.

– Семен вернулся. Ты ведь слышала?

Аксинья кивнула.

– Он сам на себя не похож, ходит, как потерянный. Со мной не говорит, не слышит ничего. Ты поможешь ему? Сердце болит, как на мужа гляжу. Горе такое...

– Приведи ко мне, – сказала Аксинья и сразу же прочла страх в больших, окруженных мелкими морщинами глазах Катерины.

– Зачем вести? В книге своей ведовской посмотри, дай зелье.

– Не могу я так, Катерина. Мне нужно посмотреть на него, расспросить.

– Знаю я, чем закончатся разговоры такие, – в глазах женщины зажегся злой огонь. – Как жеребец с кобылой!

– Катерина, ничего такого не будет. Виновата я перед тобой, и Семен виноват. Но все в прошлом, было и быльем поросло.

Та, выпрямив вечно сторбленную спину, кивнула. Аксинья хотела объяснить ей, что нет у них с Семеном ничего общего и, будь он единственным мужчиной на всем белом свете, не пойдет она больше на грех. Но уста ее не разомкнулись. Помнила хорошо злость свою на Ульяновку и мужа. Помнила, что нет тех слов, которые бы прогнали лютую ревность.

– Я грех сына своего, Ильи, отмаливаю. Да и свой грех.

– На тебе греха нет. На мне он висит, словно камень тяжелый.

– Ты дослушай, Аксинья. В тот вечер проклятый, когда

Илюха рыжего петуха пустил... Я видела, все видела: как свекровь моя подзуживала мальчика... Как лучину он поджег в печи нашей, как к сараю твоему подошел, как... Все видела!

– А что ж крик не подняла?

– А я смотрела и молчала. Думала, пусть сгорит все, сгорит! Поделом суке.

Катерина, не прощаясь, ушла. Аксинья знала, что мужа она приведет.

* * *

– Здравствуй, Семен. – Он поднял голову с коротко стриженной макушкой и ясно угадывавшимися залысинами.

Смяла, закрутила его Смута, точно листок в бурном потоке. Потрепала – и выкинула на берег.

– А ты мало изменилась, – он говорил слишком громко, и Аксинья вздрогнула, вспомнив о стоящей на крыльце Катерине.

Семен вглядывался в ее тонкое лицо, темные глаза с красноватыми от утомления белками, яркие губы с чуть опущенными уголками, будто хотел найти ответ на какой-то вопрос. Тяжело, словно старик, опустился на лавку.

– Все во мне поменялось, Семен, все – и снаружи, и внутри. Мне... нам тяжело далась эта зима.

– А? Не слышу я. – Гость осматривал избу взглядом, не выражавшим ничего, кроме усталости.

– Что случилось с тобой, Семен? – Аксинья с жалостью смотрела на бортника.

– Да громче ты говори. Что вы все шепчете? Уговорились, что ль? Не слышно ничего. Сами тихо говорят, а я понимаю, – бурчал Семен.

Аксинья подошла к нему и крикнула прямо в ухо:

– Что с тобой?

– А... И сам не знаю.

Он поднялся и подошел к иконостасу.

– Господь наказывает за грехи.

– Семен...

– Мне везло, я всего лишь привозил на телеге зерно, мясо, масло, воду. Работа нехитрая, – его громкий, срывавшийся в крик, невыносимый голос отдавался в Аксиньиной голове. – Если мужик сыт – он и воет хорошо. А под Псковом не повезло... Кучка разбойников из пищалей стреляли, наши – в ответ. Рядом со мной гроыхало. И сейчас гроыхает. Будто дюжина колоколов звенит.

Семен кричал, и сердце Аксиньи сжималось. Она не знала, чем ему помочь. Хитрая природа человека порождала запутанные, неясные хвори, и знахарка колебалась меж двух путей: сказать неутешительную правду или солгать.

– Катерина, иди в избу. Что на крыльце стоишь? – Женщина зашла и подняла несмелый, полный недоверия взгляд.

– Что с ним? Сможешь ли помочь ему, Аксинья?

– Время врачует все. Вот снадобье, заваривай травы, сма-

чивай ветошь и клади в уши. Да три раза три десятка дней.

– Спасибо! Прости ты меня за все, – недоверие в глазах Катерины сменялось надеждой, и скоро они ушли со светлыми улыбками на измученных лицах.

Аксинья позвала Нюту, обернула ее лазоревой тканью, утихомирила совесть и провела остаток вечера с иглой и ниткой, мастера дочке обнову. Перед глазами ее стоял испуганный, беспомощный Семен, так непохожий на уверенного, яростного, жаждавшего ее любви молодца.

И правда, все быльем поросло.

* * *

Солнце завершило свой дневной бег, спряталось за берегами и осинами, нацепило на облака бруснично-морковный убор. Аксинья с Нютой сидели на крыльце, ежились от вечерней прохлады.

– Мамушка, а что за птаха тренькает?

– Славка поет. Слышишь? Нежно, переливисто.

– Славка славно поет. Идет кто, – насторожилась Нютка, чуткая, словно лесной зверь. – Дышит громко.

– Иди в избу, да в подпол залезь.

– Матушка!

– Иди, еловские ночами шастать не будут. Всяк в своей избе сидит да отдыхает.

Любопытная Нюта, вздохнув, скрылась в доме, а Аксинья

выудила из поленницы топор, застыла на крыльце. Она слышала уже тяжелые шаги, и затрудненное дыхание, и сдержанные всхлипы. Разглядев гостью, воткнула топор в чурку и побежала навстречу.

– Я еле дошла, Оксюша, – бормотала Агафья. – Не знала, кого просить, как позвать. Плохо мне.

– Дуреха, а если б не дошла?

– Я крепкая... сильная, знала, что смогу. Оксюша, ты тайну мою укроешь? – она звала Аксинью детским, почти забытым именем.

– Пошли в избу. – Крупная Агафья оперлась на плечо Аксиньи, и та с превеликим трудом повела роженицу к лавке. – Знахарка всю жизнь тайны хранит.

Нюта с горящими от возбуждения глазами носилась, помогала матери готовить чистые тряпки, отвары. Они сдвинули лавку и сундук, ширококостная Агафья не поместилась бы на узком ложе. В перерывах между схватками и криками роженица порывалась что-то объяснить знахарке.

– Ты молчи лучше, силы свои береги, – оборвала ее Аксинья.

Она уложила Нютку спать, сожалея о скудости своего жилья: ни доброй клетки, ни бани во дворе Глафирином не было. А значит, рожать Агаша будет в избе, и малолетняя дочь увидит и услышит куда больше, чем пристало ее возрасту.

Крепкий стан и хорошее здоровье давали надежду на то, что Агафья разрешится от бремени. Сложена роженица была

чудно, словно дюжий мужик: широкие плечи кузнеца, мощные руки – в охвате словно три Аксиньины веточки, узкие чресла. По какой прихоти небеса сотворили Агашу такой нескладной, не ведал никто. В детстве ее дразнили несурзкой, потом уже не замечали чудное сложение.

Аксинья сидела рядом с Агафьей, вытирала пот с изнуренного лица, успокаивающе сжимала ее ладонь, порой морщилась от боли, когда роженица крепко, по-медвежьи обхватывала ее руку, сотрясаемая очередными схватками. Агаша скалила, словно собака, крупные зубы, но ни единого стога не срывалось с искусанных губ.

Наступил новый день, и тревога заползла в сердце Аксиньи. Посеревшая, измученная Агаша жадно вдыхала спертый воздух, ее тело обессилело от постоянных схваток.

Нютка давно проснулась, и, вытащив из печи вечернюю похлебку, сохранявшую тепло, прихлебывала ее, чавкала, будто голодный щенок.

– Матушка, вы с теткой Агашей исть будете? – спросила она и разлила остатки по двум мискам.

Аксинья с трудом разогнула спину, встала, потянулась, испуганно перекрестилась на иконы.

– Поблагодари за хлеб насущный, – напомнила дочке, и та торопливо осенила себя крестом.

Знахарка быстро, не чувствуя вкуса, съела жидкое весеннее варево с крапивой, луковицами сараны, черемшой, диким луком и скудной горстью зерна. Ее надежды на скорое

избавление Агафьи от бремени не оправдались, и Нютку следовало увести из избы.

Агафья впала в забытие, иногда она стонала, но схватки прекратились. Аксинья могла попытаться спасти дитя, но ей нужна была помощница.

– Агафья, я позову Зою, – шепнула она, не надеясь, что та услышит.

– В кузницу... сходи... Игнат, – отозвалась Агаша и замолкла.

* * *

Зоя и слушать Аксинью не стала, прогнала с порога, вылив на нее все похабные слова, что знала:

– Иди отсюда, бесова енда. Ходишь к честным людям, потаскуха. Сиди в избе своей среди леса и честным людям...

– Агафье помощь твоя нужна.

– Сама бы пришла, коли я нужна.

– У меня Агафья, худо ей совсем. Она...

– Без меня разбирайтесь! И дорогу в мой дом забудь.

Зоя выплеснула лохань с помоями прямо под ноги Аксинье.

– Чертова баба.

– Ты что сказала? – кричала ей вслед Зойка.

Ее муж оказался сговорчивее. Едва увидев Аксинью на пороге кузни, он сразу кивнул Глебке: мол, дальше сам, вы-

тер руки о рваную тряпицу и бросил ее брату со словами:

– Один работай.

Тот скорчил недовольное лицо:

– Куда с колдуньей побёг, умник? Я один не управлюсь. –

Но Игнат молча погрозил кулаком.

Кузнец припустил по тропе так быстро, что Аксинья еле поспевала за ним.

– Ей совсем худо? – Игнат разверз уста лишь на полдороге.

– Боюсь, не закончится все добром. Пришлось ее надолго оставить. Боюсь, как бы... – Аксинья не стала продолжать.

И так все ясно.

Игнат почти бежал, но дышал он громко и трудно, и Аксинья коснулась плеча:

– Ты передохни. Чуть раньше придем – чуть позже, делу не поможешь.

Чем ближе они подходили к избе, тем медленнее шел Игнат, грудь его разрывал сухой кашель, будто острое сено кололо, изводило его изнутри. Поймав внимательный взгляд Аксиньи, он отмахнулся:

– От кузни вся скверна, в пекле денно и ночью сижу – огнем кашляю, ровно Змей Горыныч.

Агафья еще была жива. Ее грудь еле заметно вздымалась, синеватые веки приоткрылись.

– Агафья, ты чего? – Игнат схватил ее руку, и его ладонь утонула в широкой Агашиной длани.

– Так вишь... Дитя на свет не торопится.

Аксинья застыла на пороге, ее душа целительницы рвалась вперед: что с дитем и роженицей? Но, помедлив, вышла из избы, поняла, что нужно им поговорить. Она прикрыла дверь, но слышала каждое слово.

– Агаша, помирать не надо, ты чего?

– Игнат, свет мой, ты обещаешь мне, обещаешь одно...

– Скажи...

– Ребенка возьми к себе, не бросай. Боюсь я за него.

– Зоя разъярится... кричать будет и...

– Ты не отступай, она тебя потерять боится. Примет дитя... Поорет и примет, я ее знаю, она кричит много, но не такая злая. – Агаша замолчала.

Аксинья многое услышала этой ночью и из горячечных, обрывочных слов складывала непростую историю Агафьи и Игната.

Агафья

У старой Авдотьи ровно через девять месяцев после смерти мужа родилась дочь. В Еловой долго дивились чуду: всю жизнь мужик с бабой жили, и Бог потомства не давал, а тут среди утраты и горестей каганька²⁵ вылезла на свет.

Авдотье помогали всей деревней, строгую работящую бабу уважали. После ее смерти за девочкой присматривали Зоя и Петр Осока, с их дочкой Зойкой Агаша и сдружилась. Нет, ту близость, что возникла между двумя девчонками, даже дружбой назвать было нельзя, здесь подходило другое слово: родство, кровная связь, а скорее, служение. Крупная, нескладная Агафья боготворила кругленькую, ладную, бойкую Зою-младшую. Агаша брала на себя тяжелую работу в хлеву и на поле, и Петр шутил, что, за неимением наследника, в хозяйстве ему подмогой сын по имени Агафий. Зоям – младшей и старшей – шутка не нравилась, но Агафья только улыбалась.

На вечерки и гулянья она всегда ходила, не оставлять же подругу одну. Ни одного ласкового словца, мужского взгляда, а тем паче женихов вокруг Агаши не наблюдалось.

Зойка все чаще кричала на нее, звала «коровой» и «трупердой»²⁶, находила огрехи в работе и стряпне, Агафья толь-

²⁵ Каганька – ребенок, дитя (*перм.*).

²⁶ Труперда – неповоротливая баба (*устар.*).

ко кивала и без возражений выполняла все требования сварливой подруги. Ее мужа, Игната, и детей она считала своей семьей, обихаживала их, брала на себя большую часть бабской работы по дому. Зойка оказалась искусницей в ткачестве и шитье, из-под рук ее выходили добротные полотна. Так некоторые шутили, что у Игната Петуха две жены – законная Зойка и подневольная Агафья.

Игнат на подначки внимания не обращал, Зойкину подругу считал он сестрой. Летом 1613 года Игнат, Зоя и Агафья уплыли на сенокос вниз по Усолке. Игнат устроил два шалаша – один для себя и жены, другой – для Агафьи.

Косили до самого заката, не обращая внимания на мошкату и слепней. Уморившиеся бабы ушли спать, а Игнат остался сгребать накошенное. Только ощутив, как заломило руки, он лег в стогу, и трава сплетала для него славные песни. Он проснулся от утренней прохлады, заползшей под рубаху.

Игнат вернулся к шалашам и завалился в ближайший из них. Под утро теплая женщина дышала прямо под его ухом, шептала что-то во сне. Он ощупывал ее высокую грудь, бедра, и неясная мысль ушла, изгнанная желанием. Чресла налились тугим жаром, что после возвращения с войны стало редкостью. Игнат задрал юбку и вошел в неподатливую влагу. Жена отзывалась на его лихорадочные движения, и пот выступал меж ними, смачивая тела в единое естество. Скоро он обмяк в сладком освобождении.

Игнат сонно подивился ретивости, которую не утратил по-

сле многочасового сенокоса. Он задремал и проснулся по нужде, когда рассвет пробил себе дорогу. Сквозь сплетение веток Игнат разглядел ту, что так охотно отвечала на его порывы. Агафья открыла глаза, и он не прочел в них недоумения или гнева, лишь ласку и покорность. Игнат выругался сквозь зубы: измаявшись на сенокосе, он перепутал шалаши. Пуганица ввергла в нечаянный грех.

Игнат наскоро умылся, вернулся на заливные луга, погрузил косу в сочное разнотравье, чтобы работой изгнать неловкость и страх.

Суетливая Зоя так ничего и не узнала. История осталась бы в ночных сокровенных снах Агаши, если бы не начавший расти живот. Крупная, полная баба скрывала свое положение до самого последнего дня.

Из последних сил Агаша добралась до избушки знахарки. Что делать с ребенком, она не знала, понимала одно: Зоя не простит ее, незамужнюю, принесшую в подоле.

* * *

Аксинья вытолкала кузнеца прочь, задрала Агашины юбки, раскинула безвольные ноги роженицы. К ее радости, русая головка упорно стремилась вперед, и скоро, через стоны и боль, ребенок появился на свет.

Аксинья взяла в руки крохотное существо. Тряхнула за ноги, шлепнула по тощему задку, и изба наполнилась гром-

ким писком. Агафья затихла после тяжелых родов. Акси́нья обтерла младенца вехоткой, погладила поросшую коротким волосом голову, сунула под бок уснувшей матери.

Игнат сидел на крыльце, грыз тонкую травинку.

– Мальчишка у тебя.

– Живой? И она живая?

Акси́нья кивнула. Игнат выбросил травинку, сорвал новую, руки его тряслись, будто у пьяницы.

Они долго сидели на крыльце, и повисшее безмолвие полно было не осуждения, а сочувствия.

– Я гляну? – Игнат резко встал и, не дожидаясь ответа знахарки, на цыпочках зашел в избу, и скрип половиц сопровождал его путь до спящей Агафьи.

– Акси́нья, холодная она, – сказал он, и ребенок тотчас закричал, оплакивая свою мать.

* * *

Агашу схоронили после светлого праздника Вознесения Господня²⁷. Акси́нья на похороны не пошла, но бесчисленно кланялась Богородице с просьбой простить бедную бабу за нечаянное прегрешение. Безымянный сын Игната надрывался, оглашая окрестности воплями. Акси́нья, выбившись из сил, утихомиривала дитя, баюкала, сама чуть не плакала от

²⁷ Вознесение Господне в 1614 году приходилось на 2 июня.

бессилия. Игнат улизнул от подозрительной жены, пришел проведать выноски²⁸.

Мальчонка, голодный, только жалобно пищал.

– Дай поглядеть. – Игнат ловко взял на руки младенца.

– Забирай его. Как раз нагладишься вдоволь. – Аксинья протянула мужику маленький сверток.

– Как женке скажу? Ты повремени. Я потом, как все уляжется, Зою угомону и открою ей...

– Зойку успокоишь? Выдумщик какой! Не обманывай ты себя, Игнат, – не сдержала она желчь. – Проще свору голодных псов угомонить, чем Зойку твою.

– Увидишь, все сделаю.

– Ты обещал Агафье, что мальчишку заберешь. Перед иконами обещал.

– Ты хоть денька два у себя поддержи, потетешкай. Помоги, Аксинья.

– Нечем мне кормить твоего сына. Он уже кричать не может, пищит. Как мне глядеть-то на него? Сердце жалостью исходит.

– Я принесу молока. Как ребенка-то голодным оставить.

Игнат обещание свое выполнил. Каждое утро Аксинья находила на пороге кувшин с жирным, сладким молоком. Ребенок забирал слишком много времени, сил и... сердца. Аксинья боялась, что Игнат не решится сказать сварливой жене правду и ей, одинокой бабе, придется растить, тянуть в

²⁸ Выносок, вымесок – незаконный ребенок, рожденный вне брака.

тяжелую годину чужого сына.

– Сегодня Зое скажу про мальчишку, и слова супротив не молвит. Пошел я, Аксинья.

Он говорил одно и то же, и неделя плавно перетекала в другую. Терпение никогда не относилось к достоинствам Аксиньи, на исходе августа она встала до восхода вместе с пичугами и села на крыльце ждать Игната. Синицы тенькали во славу нового дня, шмели и пчелы собирали пыльцу с цветущих трав.

– Здравствуй, знахарка. Сын мой здоров? – Игнат поставил кувшин с молоком и, не слушая ответа, вознамерился вернуться в деревню.

– Забирай сына, Игнат, тебе его растить – не мне. – Аксинья отдала испуганному кузнецу туго спеленатый сверток, он не решился ей перечить. – Крестить надо мальчишку, скоро месяц ему.

– Что жене сказать? Как объяснить, откуда взял?

– Игнат, твой сын, твоя кровь. И память об Агафье. Я выходила его, выкормила, порой забывала, что не мой сын. Привязалась я к нему. Забирай Неждана, прошу.

– Неждан, назвала его, значит. Спасибо тебе, Аксинья.

Ребенок проснулся и поднял крик. Знахарка ласково провела по гладкой щечке, поцеловала на прощание каганьку.

– Пошел я.

Аксинья проводила тоскливым взором фигуру Игната.

Не надо жалеть.

Все по справедливости. Каждому свой крест.

Глава 1

Кислое и сладкое

1. Кислое

Девчушка копалась в огороде, напевала тоненько себе под нос про милого, лесок и ягодки. Стук копыт заставил ее оторваться от возни в огороде. Разглядев гостей, Нюта Ветер вскочила с колен и принялась правой рукой отряхивать подол, заляпанный глиной, а в левой зажала пучок черной круглоболой редьки. Всадник остановился возле ворот, спрыгнул с лошади, громко гикнул. Кобыла заржала и потянула морду навстречу Нюте.

– Белка, красавица моя, шелкогривая моя, – гладила девчушка смышленную морду.

Умные глаза, бархатный нос, рыжая грива и причудливый окрас яблоками – все вызывало у Нюты восторг.

– А мне сказать доброе слово, меня похвалить? Я что, не красавец? А если так? – подбоченился мужик. – А, голуба?

– Ты, – Нюта подняла задумчивый взгляд на гостя – бритого мужика в синем кафтане, – не Белка шелкогривая, на красавицу не походишь. Зато ты хороший, добрый.

– Здравствуй, Аксинья. Слышишь, что дочка твоя гово-

рит? – Он спрыгнул на землю, потрепал Белку по крутой шее.

– Ты еще не то услышишь от Сусанны. Разговорчивая она у меня, точно сорока.

– Не в мать, – фыркнул гость.

– Слова часто лишними бывают, Голуба.

– А в молчании можно со скуки помереть. Я завсегда шутку да словцо острое люблю. Да, Нютка?

– Можно я Белку вычешу? И гриву заплету! – Нютка бежала уже с гребешком к любимице.

– И напоишь лошадь, и вычешешь, и песни ей споешь. Только редьки не давай, а то до дома не доберусь – помру от вони.

Нютка недоверчиво глянула на гостя.

– Да, голуба, дело житейское, и у Белки брюхо пучит. – Он хрустнул пальцами прямо перед Нюткиным лицом. – На сеструху мою ты похожа. Помню, страсть любила на шее моей висеть, сладости любила. А сеструха та... Эх, Нютка-утка!

– Не утка я, – надулась девчушка.

– Разве не похожа? Глянь. Кря-кря-кря, – гость не только изобразил крик речной птицы, но еще и пошел вразвалку, кривя ноги.

Нюта прыснула и уткнулась в яблочный бок лошади.

– Аксинья, пошли в избу, поговорить надо. – Гость отстегнул от седла увесистую суму и, не дожидаясь приглашения, первым поднялся на крыльцо.

– Вижу, доски поменяла, те скрипели всякий раз. – Каблуки новых сапог громко стучали по свежему дереву. – Кого из еловских просила?

– Голуба, все ты заметишь.

– Служба такая, все выведывать да примечать.

– Что сказать хотел?

Голуба перекрестился, сел за стол, по-хозяйски налил кваса из запотевшего кувшина, осушил две кружки, крякнул, вытер лицо рукавом. Оглядел избу от закопченного потолка до пола, крытого свежим сеном.

– И поставец новый сообразила...

– Голуба! Говори.

Гость скоро уехал. На прощание покрякал, вновь, к вящему восторгу Нюты, прошелся разлапистой походкой утинового племени от крыльца до калитки, вскочил на Белку, помахал на прощание и пустился вскачь по узкой дорожке, вилявшей меж золотых берез и багряных осин. За последние два года еловчане и жители окрестных деревень утоптали тропу до знахаркиного дома.

Голуба – Аксинья не знала его христианского имени – появился в ее избе впервые в 1613 году, в разгар Великого поста. Балагур и насмешник, он дразнил Нюту, раздражал и развлекал своими байками Аксинью, но, самое важное, каждый раз привозил снедь – зерно, муку, солонину, топленое масло, соль. Голуба шутил, рассказывал о загадочных обитателях Сибири, иногда разрешал Нюте посидеть на пока-

той спине Белки, скорбел по бородавтому другу, погибшему в схватке с инородцами. До сегодняшнего дня не открывал он самого важного – почему помогает Аксинье и ее дочери. Впрочем, она и сама знала ответ.

* * *

– Господи, помилу-у-уй, – протянул отец Сергей и вознес над головой крест.

Еловчане замерли. Лукерья, Фекла и Таська расчувствовались так, что слезы умиления выступили на глазах. Прасковья цокнула языком и испуганно озиралась – не услышал ли кто, но неуместный звук растворился в низком, гудящем «Господи, помилуй».

Батюшка из соседней деревушки не меньше еловчан ощущал торжественность первой службы в новом храме. Двенадесятый праздник Воздвижения Креста²⁹ отец Сергей славил в двух церквях: ночную службу – в старой, потемневшей от времени и мыслей Александровской, утреню – в светлой, благолепной Еловской церкви.

Отец Сергей трижды воздвигал крест, и яхонтовое³⁰ облучение в пляшущих отблесках свечей словно соткано было

²⁹ Воздвижение Креста – двенадесятый праздник, в который христиане отмечают обретение Святого животворящего Креста Господня, 14 сентября.

³⁰ Яхонтовый – здесь: фиолетовый.

из тысяч лепестков сон-травы³¹. Золотые нити вышивки на ризе³² казались Аксинье сердцевиной чудесного цветка, что насылал счастливый сон и отпугивал нечисть.

После омытия креста благовонной водой каждый прикладывался к реликвии, а знахарка, как и все, шепча «Господи, помилуй», представляла крест на поляне из первоцветов. Тесная, источавшая запах ладана и немых тел, церковь застилала небо, лишала возможности созерцать наилучшее творение Божье – землю, воду, тварей лесных.

Отец Сергей вернул крест на святой престол и начал литургию:

– Ты, Богородица, – таинственный рай, – закашлялся, нарушив благообразие момента. Аксинья невпопад подумала, что после службы батюшка отправит кого-нибудь к ней за настоем от грудной немочи.

Георгий Заяц стоял перед ней, плотной своей фигурой закрывая престол. Плечи его были широко расправлены, шея пряма, ноги стояли словно столпы, без намека на неуверенность. Он источал высшую степень довольства.

Никто, кроме Аксиньи, не ведал глубины его отчаяния, раскаяния в сотворенном злодействе. Нет, ни воевода, ни губной староста при самом дотошном рассмотрении дела о смерти Ульяны Федотовой не нашли бы вины Георгия, за-

³¹ Сон-трава – народное название прострела, цветка с нежно-фиолетовым венчиком.

³² Риза – верхнее облачение священника при богослужении.

ботливого мужа. Лишь сам он знал, что не простил изменницу, что молился о ниспослании суда Божьего и ускорил его, не починив лестницу в подпол.

Георгий Заяц молился о прощении и дал клятву перед Господом и еловчанами возвести храм. С лета 1613 года страна оправлялась от Смуты, как оленье стадо после нападения острозубых зверей, нескоро, мучительно. И Еловая, полуголодная, потрепанная, изнуренная, строила церковь.

Мужики возили просушенные стволы, расчищали пригорок, рубили ивы, выжигали корни. Яков, хитроумный плотник и бондарь, указывал мужикам, как срубить домину, чтобы вышла она ладной и простояла долго, на зависть александровским. Яков же вырезал затейливый крест, престол, алтарь и отдал свою лучшую икону с серебряным окладом. К весне на взгорке, в самом конце единственной еловской улицы, возле двора старой Галины, вырос невысокий сруб с угловатым куполом в наверхшии.

Деревушка, без малого сто лет назад основанная Николкой Петухом, крестьянином, обрела сокровенную сердцевину, сосредоточие кровотоков и незамутненного восторга.

Церковь вышла светлой, просторной, устремленной ввысь, с резными зверями и причудливыми завитушками над воротами. Георгий не решился перечить старосте и указывать на непотребный вид зубастой птицы, что обнимала крыльями всякого вошедшего в храм. Перед Пасхой отец Сергей освящал церковь и долго славил мастерство еловчан. Пти-

да обрела благословение духовного лица, но порой являлась Георгию Заяц во снах и пела ядовитые песни. Она напоминала – будто мог он забыть – об Ульяне и Аглае, о Марфе, о дочери, что умерла некрещеной, о чужом сыне Антоне и его жене Таисии. И в каждой из этих песен птица клеточком рассказывала о грешных делах и помыслах Георгия.

Сейчас, в разгар службы, Заяц забыл о злонравной птице и славил Крест Господень, и свой храм, и выполнение обета, и освобождение от прегрешений. Ведь должен быть у Отца милостивый взгляд на раба своего, что истово возводил дом божий и каждого вовлек в благословенное дело.

После литургии еловчане высыпали на улицу, но не расходились. Яков, не гнушаясь святым праздником, выговаривал Прасковье и Никашке за неуплату податей, стыдил, грозил наказанием. Прасковья виновато улыбалась, заглядывала в лицо старосте. Георгий Заяц и Семен обсуждали добрый урожай, кричали на всю округу: тугоухость Семена стала привычным делом. Таська прижимала крепко к себе сына, крутила головой.

– Аксинья, Тошку не видала моего?

– Они с Глебкой где-то здесь стояли, потешались над чем-то.

– Погляди за сынком моим, я водицы святой попросить хочу.

Аксинья взяла за руку Таисиного первенца. Темноглазый, с высоким лбом и родинкой на щеке, он охотно ей улыбался,

твердил «баба», пытался вырваться и побегать по земле крепкими ножками.

Аксинья приняла его зимой 1613 года: Таисия родила быстро, будто в нужник сходила. Знахарка вглядывалась в мальчонку, искала знакомые черты, надеясь на голос крови. Вдруг Матвейка согрешил с Таськой в ту шалую ночь на Ивана Купалу? Оба парня не вспомнили подробности хмельных дел, и отвечать за срамоту пришлось Тошке. Кровь Аксиньи-на молчала, а темные глаза и смоляные волосы в их краю встречались чуть не в каждом роду – наследие татар или северных народцев.

– Хорош сынок. Крепкий да выносливый, и нрав у него мягкий, улыбочивый, в мать свою пошел.

Таисия подхватила на руки первенца, зарделась от похвалы, будто девка на выданье.

– Двухлетка, а смотри, какой уже вырос! Только говорить не сподобится, да ничего, наговорится еще, за всю жизнь-то. Ох, не налюбуюсь на него.

– А дочка твоя где?

– Дома спит, зайныка, уgomонилась после крикливой ночи.

Таисия детей рожала исправно: после Гаврюшки на белый свет народилась Фелицата, Филька, Филенька по-простому. Аксиньиная помощь Таисии и не понадобилась. Больно широки были бедра у Тошкиной жены, здорова порода, легок нрав. Такие бабы выживают в любой грязи и слякоти, среди войны и срама, перебарывают непогоду и болезни, плодятся

и любят, несут тяготы земные и улыбаются всем бедам вопреки.

– Береги каганек своих, Таисия. Зря Тошка поносит тебя, – Аксинья осеклась.

– С таким мужем, как он, и мед горьким покажется, – пожаловалась Таська и быстро пошла к дому, одной рукой прижимая к себе сына, другой – кувшин со святой водой.

Георгий Заяц на полуслове оборвал разговор с мужиками и пошел вслед за невесткой. Он что-то выговаривал ей, гладил по округлому плечу, забрал кувшин, словно заботливый отец.

– Что Таська говорила тебе? Жаловалась опять на жизнь свою трудную? – Прасковья подошла к Аксинье так близко, что та ощутила запах лука и гнилых зубов.

– Сынком хвасталась.

– Незнамо от кого рожают, потом хвастают. Вот молодухи нынче пошли. Да?

– Не лезь в чужие дела, Прасковья.

После Никашкиной пакости Аксинья не смогла вернуть прежний тон в обращении с Прасковьей. Та пыталась окупиться в былую дружбу, звала на пироги, навевывалась в гости к знахарке вместе с сыном Павкой. Ничего, кроме скупых слов, Аксинья отныне предложить ей не могла.

– Сидит Матрешка на одной ножке,
На ней сто одежек:
Не шиты, не кроены,
А вся в рубцах.

– Капуста!

– Кто капусту ест, пуд³³ за один присест?

– Нюта!

Богатый урожай зеленощекой барыни заполнил клетушку. Несколько дней Аксинья добрым ножом, еще Гришиной работы, рубила холодные кочаны, и от их съедобного духа предстоящая зима не казалась страшной.

На столе высились горы белых, хрустких капустных ломтей, Аксинья и Нюта резали, вгрызались в ядреные кочаны, поминали Сергея Радонежского, которого в народе кликали Сергеем Капустником³⁴. Перекрестив рот, Нюта закидывала в рот хрусткие ломти, и скоро белые клочки оказались повсюду – в растрепанных косах, за шиворотом, на полу.

– Мамушка, пирогов с капустой хочу, – дочь ластилась к Аксинье.

³³ Пуд – русская мера веса, равная 16,36 кг.

³⁴ День памяти Преподобного Сергия Радонежского – 25 сентября.

Тощая, почти прозрачная девчужка, к досаде материнской, не добрела на обильной еде. Пирог, каши, наваристые похлебки она уминала с завидным азартом, чавкала, хвалила, просила добавки, щурилась, словно сытая кошка... А ребра и ключицы торчали, словно на рыбьем огрызке.

Аксинья и не вспоминала, что пошла Нютка от поджарого корня Василия и Анны Вороновых, которые обросли мясом к тому возрасту, когда старшие дети под столом не помещались. Сама Оксюша такой же ветрогонкой носилась по отцовской избе, и мать ее шутливо бранила: «Мослы одни, прости Господи!»

– Нюта, пирогов настряпаем да Таисию с детьми позовем.

– Зайчонок следом за мной ходить будет и канючить: поиграй да поиграй.

– Нюта! Не обижай мальчонку малого. Давно ли ты сама за Нюркой Зайцевой бегала, прохода девке не давала?

– И вовсе я не бегала за ней! Не по нраву мне Рыжая Нюрка, вредная, колючая. А Гошка маленький, с ним скучно.

– А с кем весело?

– Ни с кем.

– Спрашиваю – отвечай.

– С Павкой, Зойкой... – Нож замелькал в Нютиных пальцах.

– Осторожней, нож суетливых не любит.

– Я крупно нарезала. Смотри, какие куски, мельче надобно.

– Илюха Петух, с ним весело да ладно дни проводить. Договаривай, дочь! Думаешь, от матери скрыть правду сможешь? Я все про тебя знаю – носом учую, сердцем высмотрю.

Нюта поперхнулась, закашлялась так, что выступили слезы. Акси́нья больше дочь не спрашивала, помнила, что силой своего не добьешься.

Узкие Нютины ступни резво переминались в березовой кадушке. Она прыгала, задрав подол, на капустных листьях, с криком «Ух!». Щенок, решивший, что девчушка играет с ним, бегал вокруг кадушки, подскакивал вместе с Нюткой, звонко лаял, прославляя добрый урожай.

Акси́нья, глядя на дочь, ощущала снежное поскрипывание под ногами и соль, которая кусала потрескавшиеся за лето пятки. Давно ли сама она выплясывала в кадушке с капустой и дразнила брата Федю.

Довольна Нютка забавой, что идет на пользу хозяйству, топчет капусту и поет:

– Сергей Капустник,
Квась капусту скорей.
Вытаскивай кадушки,
Зови подружек!

Просоленная, сдобренная перцем и морковной стружкой, капуста забродит, сквасится, из пресноты появится сочная кислинка, как из будней праздник. Кислое для пермяка, как говорила дочери Анна Воронова, – самая сладость.

До Покрова³⁵ оставалось три дня. Морозец остудил Усолку, грязные дороги застыли колдобинами на радость лешим и моховикам, что прятались за кустами, ухали, пугали прохожих.

Черныш чуял их лесные игрища, не знал покоя, скулил, крутился под ногами. Аксинья с утра затеяла стряпню, и безобразник уже получил оплеуху, когда чуть не опрокинул миску с опарой. Тесто подоспело и лезло, и пузырилось, и тосковало о печи.

– Иди, Черныш, во двор, нет от тебя покоя.

Аксинья вытолкнула животину из избы. Пес скулил, скреб дверь, жаловался на холод и пугающие звуки.

– Разбаловала тебя Нютка. Сиди во дворе, охраняй избу, обормот.

Руки месили тесто, резали капусту и репу, раскатывали ладные кругляши, защищывали края, садили пироги на противень. Аксинья привыкла к старой избушке, скрипевшей по ночам, к печи, что ворчала и ругалась на новую хозяйку, к тесной клетке, к крохотному оконцу, к жизни среди леса. Она находила теперь в новом жилище особую радость: ни докучливых соседок, ни частых гостей, ни криков, ни спле-

³⁵ Покров Пресвятой Богородицы – христианский праздник, приходится на 1 октября.

тен. Уединение и одиночество оказались близки ее натуре.

Шумная, словоохотливая Нюта окрашивала каждый день в лазурные тона медуницы и василька, возвращала мать в детство, веселила, огорчала, смеялась, плакала. Тревога и забота о ней пронизывала жизнь Аксиньи восемь долгих-коротких лет. Связь их оставалась нерушимой, как в тот самый день, когда на руках матери оказалось чудо с синими глазами.

И дочери не откроешь все, что сотворено в прошлом, что коверкает настоящее и отзовется в будущем. В глазах Сусанны она Мать, существо без грехов и ошибок, словно гончарный круг, на котором вылеплен ладный кувшин. И сколь бы мир ни пытался показать дочери ее настоящую, Нюта отвергала истину, бесхитростная и верная в своем упорстве.

Еловчан, кумушек, разносивших сплетни о ведьме и прелюбодейке, Нюта объявляла обманщиками. Их слова – чашей, где вместо молока – болотная вода. Аксинья соглашалась и множила разрыв между событиями прошлого и тем, что знала дочь о матери и самой себе.

Полчаса уже Аксинья терла стол, счищала белесые разводы муки в миску. Спихватилась, хмыкнула, бросила тряпку. Меньше раздумий – больше толка. Черныш перебил круговерть мыслей – пронзительно лаял, захлебывался, звал хозяйку.

Голуба, гости из Еловой, звери и лесная нечисть обычно не вводили его в неистовство. Аксинья потянулась за душе-

грей. Если пес пустобрешет, не получит лакомый кусок пирога.

Тяжелые шаги.

Дверь привычно скрипнула.

Аксинья отдернула руку от телогреи, обратила взгляд на гостя.

Пришел, окаянный, забытый.

Пришел, чтобы вывернуть наизнанку ее жизнь.

2. Обрубок

Рыжий петух с наполовину выдраным хвостом суетливо бегал по двору. В его возмущенном голосе Нюта расслышала: «Кому? Кому?» Мать назвала бы ее сказочницей и заняла делом: прополкой, мытьем посуды или бесконечной трепкой льна.

Петух наконец нашел своего обидчика – тощего грязного щенка, спрятавшегося в конуре – и налетел на него, колотя клювом по морде, костлявой спине.

– Разыгрались тут! – Таисия, крупная, улыбчивая, пнула петуха, тот возмущенно заорал, отбежал от хозяйки подальше, под защиту сарая. Таисия взялась за щенка, схватила его за шкуру и подняла над землей. Виновник ныл, прикидываясь олухом. – Нютка, что одна здесь торчишь? Сейчас Гошку позову.

Женщина взяла Нюту за руку. Ее ладонь оказалась влажной, отвратно-липкой, но девчужка стерпела.

– Зайчонок, за стол! – зычный голос Таисии разнесся по двору.

Откуда-то сверху донеслось:

– Мамошка, – забавная рожица Гошки высунулась из окна на самом верху сенника.

– Опять туда забрался! Отец запретил лазить, забыл? Слезай, зайчик, да побыстрее.

Гошка Зайчонок ловко спрыгнул на забор, Таисия подхватила его, словно малое дитя, на руки. Он растянул изувеченные губы, и Таисия расплылась в ответной улыбке. Большие серые, опущенные длинными ресницами глаза вводили баб и девок в состояние беззаветного восторга, и озорник всегда добивался своего.

Хозяйка усадила детей за стол. Гошка разломил немытыми руками краюху хлеба, полез в миску со сметаной, вымазался ей до самых бровей. Нюта наблюдала за ним и сдерживала смех, как всегда, дивясь чудному порядку. Ни молитвы перед едой, ни чистоты, ни серьезного отношения к пище.

Дочка подняла крик, и Таисия засуетилась вокруг люльки. Гошка кинул в Нюту обглоданную куриную кость. Нюта подняла ее и засунула ему за шиворот. Завязалась потасовка. Гаврюшка глядел на старших и возмущенно сопел: его, мелкого, в игру не брали.

Антон, Таисин муж, зашел в избу, и его тяжелый взгляд не обещал ничего хорошего.

– Брысь отсюда, – кивнул он детям, и Нютка с Гошкой выскочили во двор, прихватив недоеденные ломти хлеба. – Таська, опять непотребство устроила!

Гаврюшка потащился след за старшими, на ходу поднял куриную кость, стряхнул былинку и засунул в рот.

– Тошенька, я дочку успокаиваю.

– Она, как и ты, не замолкает – пустобрехая порода.

Нюта и Гошка играли на крыльце, изображая лису и зай-

ца. Лиса-Нюта пришла в гости к Зайцу-Гошке, и тот принимал ее, как добрый хозяин: усадил за стол – на верхнюю ступеньку, потчевал яствами – сморщенными ягодами рябины и листьями. Гаврюшку прогнали подальше, чтобы не мешал, он ковырял в грязи длинной палкой.

– Гаврюша подрастет чуток – и подмогой тебе станет, – Таисия уговаривала мужа, и дети вытянули шеи, прислушивались. – Твой отросток.

– Ты считаешь меня дураком лопухим? Мой отросток! Рот твой лживый, сама ты...

– Тоша, не кричи. Я хочу, чтобы мы жили хорошо.

– А я хочу, чтобы ступенька в подполе подломилась, – он выскочил на крыльцо, сбил с ног младшего брата и побежал, не разбирая дороги – за деревню, туда, где можно кричать так, чтобы устыдились своего тихого голоса утки и дикие гуся.

Гошка понял что-то в запутанных словах ссоры, крикнул «Айда к реке», спрыгнул с крыльца, да поскользнулся и приложился головой о деревянный настил.

На затылке багровой ягодой вспухла шишка. Мальчишка не канючил и силился улыбнуться Нюте, морщась от боли. Гаврюшка заревел, точно ударился он, а не дядька.

– Тетка Таисия, Гошка голову зашиб! – Нютка зашла в избу. – Он случайно упал... не виноват совсем.

– А? – Женщина сидела у люльки, качала уснувшую дочь, а лицо ее застыло, словно лягушка, вмерзшая в лед.

Нютка остановилась. Ей показалось, что она подсмотрела что-то лишнее.

– Тетка Таисия, Гошка упал!

– Веди его в избу. – Женщина встала тяжело, будто разговор с мужем украл ее веселье, потушил смех, как холодная вода огонь.

Гошка лежал на лавке с мокрой тряпицей на голове. Боль ушла, и он показывал Нюте язык, дразнил по своему обыкновению. А девчушка не смотрела на баловника: качала зыбку, напевала «баю-бай», пережевывала хлеб и засовывала младенцу в рот, лишь он начинал хныкать.

В избе Федотовых ругались, мирились, кричали, плакали. Скука не гостила в этом доме никогда.

* * *

Он зашел в избу без всяких слов. Без приветствия. Без объяснения.

Зашел, согнув шею, низкий потолок упирался в макушку. Стащил дурацкий колпак с меховым навершием. Сел на лавку, вытянул длинные ноги, потянулся, точно сытый кот.

Не мигая уставился на Аксинью.

Минуты текли, а молчание висело над ними, словно коршун над испуганными воробушками. Нет, воробушек здесь был один – Аксинья. Она сжала трясущиеся руки, закусила губу. Ничего спрашивать не будет.

Он втянул воздух слишком громко, нагло, так что Аксинья услышала и разъярилась еще больше.

– Пироги готовы. Гость голоден. – Облизал ярко-красные губы и пошевелил до блеска начищенными носками сапог. – Что не накрываешь, хозяйка?

– Зачем пришел? – Аксинья выплюнула ему в лицо вопрос.

– С голодным мужиком разговаривать – как медведя-ша-туна дразнить. Ты накорми сначала, а потом тринди.

Аксинья вытащила пироги из печи: румяные, пышные, они источали сладостный аромат свежего хлеба. Слишком хороши для такого гостя.

– Шатун! Ловко ты себя назвал. Угощайтесь, гость дорогой. – Она поставила глиняную миску с пирогами, грохнув по столу так, что старая посуда дала трещину.

– Кваса налей, добрая хозяйка. Помню, он хорош у тебя.

Невозмутимый гость вальяжно развалился у стола: жевал пироги, причмокивая, словно теленок, запивал пенистым квасом. Насытился, лениво перекрестился. Правой рукой, скрытой длинным рукавом, ловко вытер усы и бритый подбородок. Рукав задрался, обнажив культю. Аксинья невольно задержала на ней злой взгляд, но не выдержала, отвела глаза.

– Привык, – заметил ее любопытство. – За столько-то лет привык – будто народился на свет такой, увечный.

– Ты на вопрос мой не ответил.

– Из-за нее пришел, – гость кивнул на правую руку.

– Из-за нее? – Она высоко подняла бровь, попыталась улыбнуться. Получилось.

Строганов отламывал куски от пышного пирога, отправлял себе в рот, запивал квасом, точно пришел отведать угощение. На Аксиньины вопросы он обращал внимания не больше, чем на надоедливую муху или паука, что свил паутину в углу избы.

– Жаль мне, что ты увечье получил. Что я с твоей рукой сделать могу?

Она понимала, что говорит сплошную нелепицу. И лучше было промолчать. Но слова сами лились из нее сорочьей трескотней.

– Обрубок зажил, а рука... Она не вырастет вновь. Я, хоть люди иное разносят, не колдунья.

Строганов доел четвертый пирог, сыто выдохнул и соизволил ответить:

– И я на дитя малое не похож, чудес не жду.

– Всякий мужчина до смерти ребенка в себе лелеет.

– Пироги у тебя вкусные, да речи едкие. Ты мне скажи...

Мужчина встал из-за стола и прижал Аксинью к печи. Она забыла, как быстро он может двигаться. Хищный зверь, ловкий, быстрый.

– Ко мне не подходи, – она сдержалась, не стала пятиться от него в испуге. Много чести незваному гостю.

– Да ты меня боишься, Аксинья? Или себя?

– Нет. Я всегда была не из пугливых. Я не боюсь тебя, а благодарю. Давно я поняла, кто спас от голодной смерти.

Строганов словно не услышал тех слов, что тяжело дались Аксинье.

– Скажи мне, где зарыта рука моя... обрубок, что кузнец отсек. Скажешь – уйду.

Она изумленно выпрямилась, посмотрела прямо в си-не-серые глаза, сейчас напряженные и серьезные. И расхохоталась. Ее смех становился все громче, а тело сотрясалось, словно в припадке.

Строганов молча ждал. Он высмотрел что-то, притулившееся на крышке сундука, поднял, зажал в левом кулаке.

– Зачем, – она вытерла слезы, – зачем тебе сгнившая рука?

– Веселишься? Гляди, как бы не заплакать.

– Покажу я, где зарыла кости, – облегчение сдавило ей грудь. – Раз надобно тебе, отдам.

– Глянь, что нашел, – он показал ей растрепанную тряпичную куклу, что сжимал в кулаке.

Смех Аксиньи захлебнулся.

Разжал и бросил красную тряпицу на пол, словно нечто ненужное и неважное, сор, шелупонь. Женщина подобрала, сунула в сундук: дочкину куклу надо беречь от липких рук... от руки гостя.

Голуба ждал хозяина возле ворот. Рядом паслись два холеных жеребца, щипали желтую траву.

– Голуба, коней напоил?

– Первым делом. Сам знаешь. Они как дети для меня. – Голуба увидел старую лопату в руках Аксиньи. – С ней сходить? Баба-то копает медленно, с мужиком сподобнее будет, – знал слуга, зачем хозяин пожаловал к знахарке.

– Одна справлюсь. Любопытные глаза мне не надобны.

Аксинья быстро нашла за деревней раздвоенную березу, под которой зарыла обрубок строгановской плоти. Деревянная лопата неохотно грызла увитый корнями дерн, и Аксинья пожалела, что отказалась от помощи Голубы. Зоя вышла во двор, пытаясь разглядеть, зачем знахарка ковыряется в земле. Высматривала, тянула короткую шею, но подойти поближе не решилась – озябла и зашла в избу, к радости Аксиньи.

Знахарка не зарывала обрубок глубоко, однако ни собаки, ни лисы его не тронули. Белое мелькнуло в бурнато³⁶ земле, и косточки одна за другой открылись ее взору. Аксинья осторожно собрала их в тряпицу. Тонкие, хрупкие, они показали ей напоминанием о том, что все тлен.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную.

Аксинья бежала до своей избы так, что не хватало дыхания. Плоть напоминала: давно не девка, надо года прожитые чтить.

Голуба и его хозяин ждали Аксинью у ворот. Строганов забрал узелок, развязал, переворошил косточки, точно зна-

³⁶ Бурнатый – темно-коричневый (*устар.*).

харка могла украсть пару обглодков для тайных дел. Голуба ободряюще кивнул Аксинье: мол, хозяин доволен.

– Молодица ждала
У порога меня, –

напевал слуга, не смея торопить хозяина.

Степан замешкался, словно хотел что-то сказать Аксинье, но передумал. Запрыгнул на белого жеребца куда медленнее, чем Голуба, – мешала искалеченная рука.

Голуба помахал на прощание рукой, его хозяин не потру-дился обернуться. Она стояла и глядела им вслед, словно не было иного дела. Поднялся ветер, он взметнул сухие листья, зашуршал в ветвях. Скоро воспоминание о гостях развеялось в погрустневшем лесу.

Аксинья поставила в печь второй противень с пирогами – Строганов съел все, приготовленное для дочки. Оставил лишь пару румяных корок: богатей, он не знал голода и бед, не клевал петух его в темечко. Ступал – словно царь по своим владениям: мужики – кланяйтесь, бабы – снедь вы-кладывайте да юбки задирайте. Она распалила в себе злость, подкидывала дрова в печной зев.

Аксинья сгребла со стола гору огрызков, открыла было дверь – крикнуть пса. Пусть животное порадует белому хлебу.

Передумала: привыкла за смутные годы беречь каждую

крошку. Налила кваса, откусила, прожевала, опять откусила. На глазах выступили злые слезы.

Вечером Аксинья забрала дочь, поблагодарила Таисию, долго слушала журчавший ручеек Нютиных речей, накомила и успокоила небольшое свое хозяйство: кур-несушек и пса, – уложила непоседу-дочь.

– Тошке их кикимора подбросила? Таську и Гаврюшку? А, матушка?

Нютка требовала ответа, стучала пяткой по лавке, супила брови.

– Доченька, лапушка моя, ты о чем?

– Тошка сегодня как крикнет на Таисию, как стукнет кулаком! Мы с Гошкой испугались.

– Во всякой семье ссоры бывают.

– Он будто змей ненавидит. А Таська – гадюка, и он раздавить ее хочет.

– Нюта, не придумывай страстей на ночь. Опять будешь кричать во сне.

– Не змея, не змея, – шептала дочка и скоро затихла.

Мать над постелью ее просила Сусанну Соленскую о милости для беспокойного дитяти. Губы говорили одно, а внутри билось другое. И билось оно с такой настойчивой громкостью, что заглушило благодатные слова молитвы.

Девять лет назад закрыла дверь и позволила Строганову вытворять с ее плотью все, что пожелает сластолюбец. Девять лет назад ее муж Григорий наказал прелюбодея. И на-

казал себя.

Девять долгих лет Строганов не появлялся на ее пороге. В годину страшного голода он смилостивился – отправил своих слуг с мешками, полными снеди. С той поры приезд Голубы стал обычным делом: он привозил зерно, солонину, иногда мешочек с монетами.

Голуба не рассказывал про хозяина, Аксинья не задавала лишних вопросов. Хотя все эти годы не подозревала – знала, от кого яства, подмога, забота. Кто еще во всем огромном мире мог беспокоиться о знахарке и ее незаконном ребенке?

Строганов не дал дочери умереть. Чувствовала ли она благодарность к нему?

Гнала ее от себя, как лесную нечисть. Смотрела на Строганова, и память бурлила, словно котел с бельем на печи, и вспучивалась пена обид и недосказанного.

Помнился всеильным, богатым, ловким. Бабник. Слово-блуд и рукоблуд.

Кости, сжатые в дрожащей левой руке. Шутки, граничившие с жалобой.

Тряпичная кукла.

Померещилось, как видения на болоте.

Аксинья придумала то, чего не было. И сама в рассказни свои поверила.

3. Цветок лесной

Снег укутал еловское кладбище, словно заботливая мать, припорошил кусты рябины, повис белыми нашлепками на крестах, укрыл застывшую землю и бранные останки. Потемневшие кресты с вырезанными именами – единственное, что оставалось от суетного жизненного пути с рождения до смерти, со всеми тревогами, радостями, крестинами, свадьбами, болезнями, страстями и грехами. Аксинья склонилась над могилой и погрузилась в печальные воспоминания, ставшие привычными для нее.

Надпись «Василий Ворон» ровно, точно в церковной книге, нацарапана на еловом кресте. Сильный, умный человек, опытный гончар, верный муж, отец шестерых детей. Она любовно погладила темное дерево и прошептала: «Спи, батюшка, с миром».

Болью в сердце отозвалась надпись на следующем кресте «Федор Васильев Ворон». Он умер молодым, только начав пить захлеб хмельной мед под названием «жизнь». Нелепая случайность. Или провидение Божье? Или наказание ей, окаянной грешнице? Эти мысли навещали ее и днем, и ночью. И никто не мог дать ей ответа – ни Богоматерь, смотревшая с иконы светлым, отстраненным взором, ни александровский батюшка. Облик херувима, бесхитростная душа, исполненная любви и доброты... Аксинья возблагодарила Бога, что

Федор ушел не бесследно, оставил сына Василия.

Третий крест, третья могила. «Матушка, нашла ли ты покой там, за небесными воротами? Здесь, на земле покоя не найти». И слезы, сдерживаемые Аксиньей, пролились на четвертую могилу, на крест, не успевший потемнеть. Здесь даже мысли ее немели, не чаяла она обратиться к Матвейке с искренним и душевным словом. «Совсем я одна осталась. Те, кто любил меня и кого я любила, сейчас в раю. И не суждено мне встретиться с вами. Мне уготована иная участь».

Она положила скудные гостинцы своим родным, поклонилась могилам. Близился закат, все еловчане уже выполнили свой долг – почтили могилы родичей на Дмитриевскую субботу³⁷, и Аксинья, к радости своей, не встретила никого из деревенских.

Сгустились тучи, и вновь повалил снег. Аксинья шла все быстрее, терла озябшие руки, дорога до дома казалась бесконечной, словно зима.

Распахнутые ворота наполнили ее тревогой. Дочь осталась дома одна – брат с собой в мороз восьмилетку побоялась. Распахнув дверь, выдохнула с облегчением. Настюха, Никашкина жена, баюкала сына, а он, не замолкая, пищал, точно голодный котенок. Нюта, как подобает хозяйке, налила гостю отвар, а сама испуганно глядела на младенца, словно у мальчонки выросли рога и копыта.

– Аксинья, худо ему. – Ребенок выпростал из одеяла худые

³⁷ Дмитриевская суббота – день поминовения усопших, 26 октября.

ручонки. Покрытые язвами, коростами, они сочилились гноем и сукровицей. – Ночами совсем не спит, криком заливается.

Аксинья стащила платок и телогрею, заглянула в печь – все ли прогорело. Зев ее дышал теплом и покоем.

– Ты посиди чуток, Настя.

Сын Никашки Молодцова и Настасьи, дочери старосты Якова Петуха, родился прошлой весной. Он стал первым еловским каганькой, крещенным в новой церкви. Нарекли болезненного Никашкиного сына Евтихием. Отец Сергей, посмотрев на худосочного мальчонку, сказал: «Евтихий³⁸, святитель, строгий и мудрый, силу ему придаст и стойкость. Благое имя». Точно чуял, что жизнь у малого отпрыска Никашки будет несладкой, стойкости и мужества ему, крохотному человеку, понадобится в избытке.

Настюха улыбалась первенцу. Он достался ей, словно подарок Божий. Не счесть, сколько раз она чувствовала в себе перемены, прибегала, счастливая, к Аксинье, чтобы та подтвердила ее подозрения. И каждый раз теряла дитя: вместе с кровью и радостью покидало оно черствую утробу. Осенью 1613 года Настюха чуть не умерла, произведя на свет мертвого ребенка. Аксинья закутала его в лен и запретила родичам смотреть. Знахарка потом долго, засыпая, видела обезображенное лицо с провалом вместо носа, заросшими пленкой глазами, костяным выступом на лбу.

Судьба безжалостно играла с Настей: выстраданный, дол-

³⁸ Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский.

гожданный ребенок болел беспрестанно.

– Никашка дома не спит, лютует, на меня ором благим кричит. Осенью на сеновал уходил, от Тишки-сына подальше, а сейчас к дружкам повадился уезжать, дни и ночи пропадает где-то...

– Мужуку трудно смириться с детским криком, да без привычки. Второй, третий ребенок народится – будет сговорчивее.

И сердце Аксиньи обожгла жалость, так и хотелось прижать к себе Настюху по-матерински, гладить русую голову, повторять: «Ты цветок лесной, радость для сердца, а муж твой – пакость и тлен».

Аксинья за последние месяцы перепробовала все снадобья, все зелья, даже самые хитроумные, что хранились в ее голове и Глафириной книге. Тишка кричал все громче, опровергая мирное имя свое. Корки, покрывавшие его беззащитное тельце, разрастались, как и отчаяние Насти.

– Раздевай Тишку.

Настюха послушно скинула с сына покрывальце, теплую рубаху и протянула вопящего сына Аксинье.

– Кто у нас кричит, как медвежонок? Ар-р-ры-ы-ы, – зарычала она в лицо мальчику. Тот изумленно замолк, хлопая короткими густыми ресницами.

Аксинья положила его на деревянную лопату, точно каравай.

– В печь садить будешь? Не обожжется? – допытывалась

Настя.

– Он же как пирог спечется, – вставила свои пять копеек

Нютка.

– Молчи. Обе – ни слова.

Аксинья положила Тишку на лопату, а он только таращил прозрачно-голубые глазенки. А когда оказался в печи, зарорал во всю мощь.

– Мелкий, а как вопит! – прошептала неугомонная Нюта и испуганно зыркнула на мать.

– Печь-матушка,
Забери хвори,
Сожги горе.
Спали пакости,
Оставь здоровье
Да радости.

После пережитого мальчишка уснул. Настя благодарно кивнула Аксинье, прошептала «Платузавтрапринесу» на прощание.

* * *

– Вот куренок и поклоны до земли тебе от всей нашей семьи. – Лукерья поклонилась, чинно перекрестилась, а потом, словно девчонка, тряхнула неоципанной безголовой птицей. – Благодарность за племянника моего.

– Стало Тишке лучше? Словно родным он мне стал за эти месяцы, бедолага.

– Слава Господу нашему. – Лукаша опустила на лавку, поджала ноги, оголив ступни по-срамному. – И твоему дару знахарскому. Всю ночь Тишенька молчал, спал, словно поросенок. Никашка довольный ходит, добрый, шутит беспрестанно.

– Его довольство – первейшее дело, – не удержалась от скрытой колкости Аксинья.

– А ко мне Глебка сватался, – невпопад сказала Лукаша. Она так и не выпустила из рук курицу, и Аксинье пришлось самой забрать плату за знахарство. Пока хозяйка искала веревку и подвешивала птицу к потолку в холодной клетки, чтобы мыши не погрызли, гостья и Нюта продолжали разговор.

– Свадьбу гулять будем? – пискнула Нюта. – На свадьбу хочу!

Лукаша вздохнула, перекинула на грудь толстую, словно сноп, косу. Серые с зелеными искринками глаза таили печаль.

– Отказала я ему.

– Лукерья, ты замуж не хочешь? – со взрослой печалью спрашивала Нютка.

– Хочу, пуще всего хочу! Вековухой остаться – смерти подобно. Но за Глебку-злыдня не пойду.

Нюта села к Лукерье, прижалась к ее теплому боку, погла-

дила девичью косу, словно зверька.

– Расплету?

Лукаша кивнула, и проворные Нютины пальцы вмиг обратили косу в водопад, что скатывался до самых чресел. Волосы блестели и переливались от золотого до темно-русого, от соломенного до светло-бурного.

– Везет тебе. А у меня волосы жидкие. Смотри! – Нюта расстроено трясла косицами.

– Когда вырастешь, красавицей станешь, как мать. Волосы у тебя, словно мех соболя.

Нюта немедленно принялась разглядывать свои волосы, морщить лоб – соболя она никогда не видела. И хотела уже приступить к расспросам: что за зверь да на кого похож, но мать перебила ее мысли:

– Лукаша, а мать твоя одобрила отказ Глебкиным сватам?

– Куда там! Полночи меня уговаривала, сватам ответ давать не хотела... Надеется меня сневолить.

– Лукерья, ты сама знаешь: выбора нет. Такая наша бабья доля, горькая да плакучая.

– Я бы тоже за Глебку не пошла. У него глаза злющие, – влезла в беседу Нюта. – Глядит и точно изжечь хочет. А Илюху той зимой он выдрал...

– Илюху за пакости кто не лупил! Смотри, Нютка, будешь мне перечить – за Глебку тебя отдам, – расхохоталась Акси-нья.

Лукерья долго еще сидела у знахарки, и раз за разом го-

ворила одно и то же: об отказе Глебу, о своих надеждах, об уходящей девичьей поре. Про Матвея не сказала она ни слова. Но Аксинья и так понимала: чуткая, совестливая Лукаша просит одобрения и благословения у тетки своего покойного жениха. За то время, что прошло со смерти Матвейки, ей не только стоило бы обзавестись добрым мужем, но и родить пару детей. Лукаша день ото дня становилась все краше, а сплетницы злоязычили: «Девка-пустоцвет».

– Ты кого-то ждешь? – встрепелась она, услышав тяжелые шаги.

– Знахарка в любой час гостей ждет.

– Здравствия хозяйкам, – блеснул Голуба улыбкой и двумя отсутствующими зубами. – И тебе... – он хотел добавить что-то, но осекся.

Лукаша запунцовела – мужик в непотребном виде застал. Опустила ноги на пол, одернула юбку, но внимательный глаз мог усмотреть розовую полоску кожи между краем сарафана и башмаками.

Голуба застыл на пороге, большой и неповоротливый.

– Проходи, садись к столу, – слова хозяйки наконец сняли чары.

Голуба поставил у двери заплечный мешок – очередной дар благодетеля. Сел, уставился на икону Спасителя, словно просил его защиты.

Лукерья исподтишка разглядывала гостя. Высокий, крепкий, немолодой, в богатом кафтане и шубе, сафьяновых са-

погах, с саблей на поясе и золотой серьгой в ухе. Обычай заставлял ее отводить глаза от незнакомого мужчины, а любопытство шептало совсем о другом.

Голуба кхекнул, повернулся к Аксинье, открыл уже рот, чтобы сказать что-то, и уставился осоловело на молодую гостью. Лукерья сплетала из темно-янтарных своих волос не косу – драгоценный убор. Она оправилась уже от замешательства и, заметив оторопелый взгляд мужчины, еле заметно улыбалась, прикрыв глаза золотистыми ресницами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.